

Валерій МакКин



Осколок души

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Valerie McKean

Осколок души

«Автор»

2026

McKean V.

Осколок души / V. McKean — «Автор», 2026

Она приехала, чтобы написать его биографию. Он же изучал её как научный феномен. Их страсть была отравлена ложью, а побег — лишь началом кошмара. Главная тайна Рафаэля Винкельмана касалась не его прошлого, а её сущности: Элизабет оказалась живым экспериментом его безумного отца.

Теперь их связывает общая травма. Он — наследник палача. Она — его главная жертва. Смогут ли они уничтожить проклятое наследие и построить что-то настоящее, или их болезненная связь — лишь часть чужого безумного плана?

Содержание

Глава 1. Элизабет	5
Глава 2. Элизабет.	9
Глава 3. Элизабет.	12
Глава 4. Элизабет.	16
Глава 5. Элизабет.	21
Глава 6. Рафаэль.	29
Глава 7. Рафаэль.	34
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Valerie McKean

Осколок души

Глава 1. Элизабет

Эта книга - для вас, если вашего героя нельзя спасти, но можно понять. Если вы ищете не легкий побег в любовь, а медленное погружение в общую бездну, из которой иногда - только иногда - можно выбрать вместе.

Плейлист:

Allan Ariza Silent Infinity

Colonize my heart walking on cars

Sailor song gigi perez

Roads untraveled linkin park

— Лиз, ты действительно хочешь это сделать? — по ту сторону телефона слышался нервный голос моей подруги. Она явно слишком обо мне беспокоилась.

— Все нормально, Энн. Я всего лишь сделаю свою работу и все, — поерзав на пассажирском сидении, ответила я. — Это и вправду увлекательно: история дома Винкельманов звучит как новая статья...

— Статья, где в готическом доме находят мертвую девушку, — перебила она меня.

— Все, кладу трубку. Буду звонить, если что не так. Пока. — Я не дождалась ответа и тут же нажала на кнопку «сброс».

Такси, резко дернувшись, остановилось у ворот, будто водитель спешил поскорее убраться отсюда.

— Навигатор сдох, сами как-нибудь, — буркнул он, глотая последние слова. Я выгрузила чемодан на колдобистый асфальт. Усадьба Винкельманов, или то, что от нее осталось, выпирала из-за забора бетонным монстром с выбитыми окнами-глазницами.

Мой взгляд направился на лес, стоявший густой стеной позади. Если долго всматриваться, то можно было увидеть движение в глубине деревьев. Мрачность места дополнял высокий чугунный забор, оплетенный мертвым плющом.

А за ним стояла Белая Усадьба Винкельманов. Но «белая» — это лишь дань памяти, прозрачное название, выцветшее вместе с краской. Штукатурка, некогда цвета свежего молока, теперь походила на старый пергамент, покрытый пятнами сырости и причудливыми трещинами, сквозь которые проглядывала серая плоть кирпича.

Она была неправильной. Это замечал каждый, кто осмеливался всматриваться. Казалось, ее строили в разные эпохи и по разным чертежам, которые потом забыли согласовать. Одно крыло с узкими стрельчатыми окнами тянулось ввысь, как монастырская башня. Другое — низкое, приземистое, с аркадой — напоминало то ли конюшню, то ли трапезную. А между ними втиснулся портик с колоннами, слишком тяжелыми для этой ажурной меланхолии, будто его перенесли сюда из другого здания, более уверенного в своем существовании.

Окна были главной загадкой. Глухие, слепые. В некоторых вместо стекол была лишь темнота, в других отражалось только низкое, бегущее небо, но никогда — внутренность дома или стоящий перед ним наблюдатель. Лишь в одной круглой мансарде, что притулилась под самой

крышей, стекло временами тускло серебрилось, словно изнутри на него падал свет одинокой, забытой свечи.

Главный вход не внушал доверия. Дубовая дверь, черная от времени, была украшена витиеватым кованым молотком в форме змеи, кусающей собственный хвост. Стукнуть им боялась даже рука, привыкшая к грубым деревянным дверям. Казалось, звук удара не откроет дом, а разбудит в нем что-то давно уснувшее.

Тишина вокруг Усадьбы была особой — густой, вязкой, как сироп. Она не поглощала звуки, а искажала их. Шорох листвы превращался в шепот, далекий крик птицы — в стон. И всегда, в любое время дня, от дома тянулись длинные, не по сезону острые тени, будто он был повернут к солнцу не той стороной, какой следовало бы.

Местные обходили это место стороной, и не из-за страшных легенд. Просто сама плоть дома, его геометрия, его слепые окна вызывали тихий, почти физический ужас. Это был не дом с привидениями. Это было место, которое само являлось привидением — призраком замысла, заблудившимся в мире плотных материалов и ясных линий. Оно стояло не на земле, а на грани воспоминания, и ждало, чтобы кто-нибудь ошибся и принял его за реальное.

У самой возвышенности высокого окна за стеклом показалось легкое движение. Мурашки ударили по телу неприятной пощечиной. Может, нужно было все-таки послушать Энн и не приезжать в этот дом? Но я не трусиха и готова узнать историю этого места и людей, которые жили в нем раньше. Эта поездка затянется максимум на неделю. Со своим опытом я точно справлюсь и смогу снова гулять по столице любимого города, попивая вкусный кофе у дома за углом.

Дождь, начавшийся еще в городе, теперь моросил с удвоенным усердием. Вздохнув, я натянула капюшон и потащила чемодан по скользкой плитке к тяжелой дубовой двери. Ни звонка, ни домофона. Только камера под козырьком, красный огонек которой зажегся, едва я приблизилась.

Рука полезла в карман за телефоном, чтобы позвонить агентству, когда раздался щелчок — громкий, металлический. Дверь отъехала внутрь сама, на автоматическом приводе, с тихим шипением.

В проеме стояла женщина. Лет пятидесяти, в идеально отглаженных брюках и водолазке, пепельные волосы собраны в тугий пучок. Лицо — маска вежливого, непробиваемого спокойствия. В руках — планшет, экран которого слабо подсвечивал ее снизу вверх.

— Элизабет Бринкманн? — Голос был ровным, диктофонным. — Вас ждут. Проходите.

Не улыбнувшись и не представившись, она развернулась и пошла вглубь холла. Я заколебалась на секунду, глядя на свой чемодан.

— Его можно тут оставить, — бросила женщина через плечо, не оборачиваясь. — Погода.

Шагнув внутрь, я почувствовала, как воздух ударил в лицо — неожиданно теплый, сухой, с примесью запаха старой мебели, воска для паркета и чего-то химически-чистого, как в больнице. За моей спиной дверь с тем же механическим шипением закрылась, отсекая шум дождя и превращая его в далекое бормотание.

Гостиная — музей нерешительности. Диван, затянутый потрескавшейся с годами кожей, соседствовал с ящиками с книгами, которые десять лет собирались переставить наверх. На каминной полке — будильник с пластиковым циферблатом 90-х, остановившийся. Время здесь не линейно, оно спрессовано в хаотичные, не связанные друг с другом слои. Хотя дом и был старый, но на кухне, в бывшей буфетной, сверкала новая сантехника и белый кафель «под кирпич». Холодильник был обычный, негромкий, но его гул, отражаясь в пустом пространстве столовой, приобретал странное эхо. По углам были расположены двери, возможно, это была та самая библиотека таинств семейных тайн семьи Винкельманов.

Женщина остановилась у лестницы.

— Я — Анна. Можно просто Анна, экономка. Хозяин на совещании в городе. Он присоединится позже. Ваша комната на втором этаже. Вам показать? — Она произнесла это как отрывок из инструкции, глядя на планшет. Ее взгляд скользнул по мне, оценивая, но не интересуясь.

Я кивнула, чувствуя, как капли дождя с моего плаща падают на паркет. Дом поглотил меня. Не гостеприимно, а как система, принявшая новый, временный объект на обработку. Анна уже поднималась по лестнице, ее шаги беззвучно гасил толстый ковер. Оставалось только следовать за ней, в эту странную и зловещую тишину.

Подъем по лестнице — ритуал. Каждая ступень издает свой звук: одна — скрип, другая — стон, третья — глухой удар. Ты идешь не просто на второй этаж, ты проходишь через звуковую проверку, становишься частью симфонии упадка.

А вот здесь, наверху, еще держится островок обитаемости. Длинный узкий коридор, ведущий в разные спальни.

— Вам сюда, — показывая пальцем на дверь, прервала тишину Анна. — Я отправлю расписание господина и правила дома на вашу почту. Чувствуйте себя как дома, — нехотя произнесла она последние слова, и в ее голосе не было ни капли искренности.

Я уже хотела укрыться в комнате, спрятаться где-нибудь, чтобы перестать чувствовать это внутреннее давление, как вдруг Анна остановила меня.

— И самое главное правило, которое вы должны знать как молитву. Никогда. Не заходите. В западное крыло. — Слова четко ударили в мою голову. Я качнула головой и резким движением влетела в комнату. Шаги Анны постепенно становились тише, и я наконец смогла выдохнуть с облегчением.

— Хоть комната приятная, — пробормотала я.

Спальня была минималистична: деревянная кровать по центру, обитая бархатом у изголовья, серый шкаф и столик такого же цвета с круглым зеркалом на стене. Больше мне ничего и не нужно было. Окна выходили прямо на «мертвый» вечерний сад — в это время года листья уже опали, и теперь маленькие вишни доживали свое последнее.

Тишина была густой и тяжёлой, как тёплое одеяло. Мое тело утонуло в ней, в этом странном, пьянящем сне, который накрывает в незнакомых местах — глубоко, но чутко. Тело помнило, что оно не в своей кровати, что вокруг не родные стены, а старые обои, которые днём казались просто милой стариной.

И вот эта тишина треснула.

Не снаружи сначала, а внутри сна. Будто лёд на глубоком озере — длинный, сухой, неумолимый звук, рассекающий всё. И он выдернул меня на поверхность сознания, резко и безжалостно.

Я открыла глаза. Не сразу поняла где. Потолок с лепниной, тёмный прямоугольник окна. Да. Усадьба Винкельманов. Глушь.

Сердце забило где-то в горле, тяжёлыми, глухими ударами. Я замерла, вцепившись пальцами в края одеяла. Уши напряглись до боли, вылавливая из мрака каждый шорох. Скрипнула где-то балка, вздохнул старый дом, привычно усаживаясь на фундамент.

— Показалось, — подумала я, уже почти убедив себя. — Переутомилась, новые места...

И тут звук повторился.

Женский. Не просто испуганный — пронзительный, вывороченный наизнанку ужасом. Короткий. Обрубленный на самой высокой ноте, будто рот захлопнули ладонью. Он не эхом разнёсся по коридорам — он вспыхнул где-то в самом нутре дома, в его тёмной сердцевине, и сразу же был поглощён новой, ещё более густой тишиной.

Я села на кровати. Воздух стал ледяным, колючим. Темнота за дверью, ведущей в длинный общий коридор, была уже не пустотой, а сущностью. Плотной, дышащей, только что вобравшей в себя этот крик.

Я медленно свесила ноги с кровати. Паркет холодом обжёг ступни. Сотни вопросов, лихорадочных и нелепых, металась в голове: кто? Анна? Но это даже не её голос. Дом стоит особняком. Телевизор? Его не включали. Животное? Нет, в этом звуке была безошибочно человеческая, женская мука.

Встала. Каждый шаг к двери отдавался гулко в собственных ушах. Рука дрогнула, прежде чем коснуться холодной латунной ручки. Прислушалась. Ничего. Только стук собственной крови в висках.

И тогда — шёпот. Не слова. Такой тихий, едва уловимый звук, будто кто-то в отчаянии проводит ладонью по штукатурке где-то за стеной. Или плачет, уткнувшись лицом во что-то мягкое, чтобы не было слышно.

Отпрянув от двери, я прижалась спиной к холодному стеклу окна. Всё внутри кричало, чтобы я бежала, запрыгнула обратно в кровать и натянула одеяло на голову. Но ноги не слушались. Я стояла, вглядываясь в щель под дверью, за которой была только непроглядная тьма и отголоски чужой, внезапно прерванной паники.

Ночь перестала быть покоем. Она стала ожиданием. Вопросом, застывшим в ледяном воздухе. И этот невидимый, затаившийся где-то в складках старого дома ужас был теперь гораздо страшнее любого ясного, понятного звука. Я не выдержала натиска и громко закричала.

— Анна! — Тишина. — Анна! — прокричала я уже не своим голосом. Не знаю, сколько раз мне пришлось надрывать связки, но её имя я теперь точно надолго запомню. Только после того, как я услышала приближающиеся шаги к двери, смогла наконец замолчать.

Дверь резко открылась, словно её выбили ногой. В коридоре стояла Анна, её грудь тяжело вздымалась, возможно, от быстрой ходьбы. Длинное платье спускалось ниже колен, на голове был тот же пучок, слегка растрёпанный.

— Что происходит? Почему вы кричите среди ночи? — словно робот, проговорила она без всяких эмоций. — Что? — единственное, что я могла произнести. — Вы кричали? Вы не слышали, как кто-то кричал? — Руки сжимали одеяло у груди.

— Что за нелепица. Я ничего не слышала. Вам, возможно, приснился кошмар, такое бывает в подобных местах. Пожалуйста, больше не беспокойте по пустякам. Спите, завтра много работы, — отрезала она и закрыла за собой дверь.

Спать? Спать теперь я точно не смогу.

Глава 2. Элизабет.

Серые глаза опухли от прошлой ночи, теперь они похожи на туман. Откуда-то на коленях появились синяки, и ладони горели огнем. Неужели я лунатила во сне? Или в меня что-то вселилось и управляло мною?

По расписанию, которое скинула мне Анна, у господина Рафаэля было свободное окно во время завтрака. Поэтому, несмотря на свой вид, я решила наконец с ним встретиться. Я расчесала свои длинные каштановые волосы, натянула первый попавшийся лонгслив, оставаясь в шортиках и длинных меховых гетрах. Хоть дом и выглядит устаревшим, внутри всё очень даже хорошо оборудовано под современный лад.

Спустившись по лестнице, я ощутила запах мака, выпечки и кофе. Мой живот тут же подал знак, что готов забрать со стола всё, на что упадёт мой взгляд.

Крошки круассана замерли у губ, когда дверь в солнечную столовую отворилась. Он вошел не как призрак из ночных кошмаров, а как буря в дорогом кашемире. Рафаэль Винкельман. Владелец усадьбы, заказавший свою биографию. И тот самый человек, в чьем доме прошлой ночью раздавались душераздирающие женские вопли. Свитер был натянут на широких плечах, ключицы выпирали у V-образного выреза. Он был выше меня — я с легкостью могла сказать, что в нём почти два метра роста при моих ста семидесяти.

Я привстала, смахнув несуществующую крошку с темных шорт. В ушах до сих пор стоял тот звук — не скрип балок, не вой ветра. Четкий, пронзительный, полный ужаса женский крик. А потом — тишина, гуще и страшнее любого шума.

— Доброе утро, господин Винкельман. Благодарю за гостеприимство.

Его взгляд, тяжелый и оценивающий, скользнул по мне, будто проверяя на прочность. На лице — ни тени недосыпа или тревоги. Только холодная собранность. Он и был самым холодом. Черные шптрыны лежали аккуратно на его голове, еле касаясь глаз. Где-то я читала, что ему исполнилось двадцать девять лет, всего на четыре года старше. Но я уже чувствовала огромную возрастную стену между нами.

— Спокойной ночи не было, мисс Бринкманн? — Его голос был низким, бархатным, начисто лишенным той истерической ноты, что резала ночь. Он подошел к буфету, наливая себе черный кофе. — Старые дома любят поскрипывать. Мансарды, флюгера...

— Флюгера редко зовут на помощь, — выпалила я. Сдержаться не получилось. От того крика внутри все еще сводило желудок.

Он замер на секунду, затем медленно повернулся. Ладонь легла на темное дерево стола, пальцы слегка сжались.

— Вам... слышалось.

Это была не констатация. Это был приказ. Тихий, но не допускающий возражений.

— Мое слуховое восприятие в полном порядке, — голос предательски дрогнул, но я не опустила глаз. — Я слышала женщину. Она кричала. Где-то в этом доме. После полуночи.

Тишина в столовой стала плотной, как сливки в кувшине между нами. Рафаэль Винкельман отпил глоток кофе, его глаза, непроницаемые, как озёрный лёд, изучали меня.

— Вы приехали писать о прошлом, мисс Бринкманн. О моем прошлом, настоящем, о моих предках, их женах и об их жертвах. — Он сделал маленькую паузу. — Тени в этом месте долгие. Иногда они находят голос. Особенно женские тени.

От этих слов стало еще холоднее.

— Вы говорите о призраках?

— Я говорю об эхе, — поправил он резко. — Эхе старых трагедий, вмурованных в стены. Ваша работа — с документами. С фактами. А не с... ночными звуками.

Он подошел к столу и сел напротив, развернув свежую газету. Жест был ясен: разговор окончен.

— Завтрак, как видите, отличный. Ваш рабочий день в архиве начнется в десять. Там вы найдете дневники жены моего предка, Марии. Возможно, они дадут вам... необходимый контекст.

Я смотрела на его склоненную голову, на безупречную линию плеч. Он отрицал очевидное. Но в этом отрицании была трещина — упоминание о женских тенях, о дневниках Марии. Он не сказал, что мне померещилось. Он сказал, что это «эхо».

Женский крик. Женские тени. Женские дневники.

Внезапно биография отошла на второй план. Главной загадкой, живой и кричащей, стал сам Рафаэль Винкельман и та тишина, которую он так яростно охранял. И я поняла: чтобы докопаться до правды о прошлом, мне придется разгадать тайну этого дома и его хозяина. Даже если это опасно. Особенно если это опасно.

Мое рабочее место — старый письменный стол у окна, заваленный коробками. Рафаэль предупредил: «Там есть всё. И ничего. Разберитесь». Он платил за то, чтобы я разобралась. Чтобы я пропустила через себя пыль этих архивов и родила на свет ясную, связную историю успеха. От этого дома — к империи.

Я натянула перчатки и вскрыла первую картонную папку. Фотографии. Не гламурные снимки с открытия клиник, а бытовые, потрепанные. Вот он, подростком, угловатый и темно-волосый, стоит на фоне этого же крыльца. Глаза, даже на выцветшем снимке, смотрят куда-то поверх фотографа, в свое будущее. Рядом — женщина, должно быть, мать. Улыбка напряженная, в глазах усталость. И ни одного фото, где бы они оба смеялись.

Потом пошли документы. Не завещания или дипломы, а что-то более частное. Старые счета за электричество с пометками красной ручкой. Выписки из медицинских карт — не его, а её. Матери. Диагнозы, которые сейчас звучали бы иначе: «невроз», «астеническое состояние», «вегетососудистая дистония». Рецепты на лёгкие транквилизаторы, выписанные разными врачами из разных поликлиник. Системы не было. Была череда попыток заглушить боль, которая не имела названия.

Я делала пометки в блокноте, но рука двигалась медленно. История успеха начинала трещать по швам, обнажая другой слой. Не «сын преподавателей из интеллигентной семьи», а сын женщины, которая жила в постоянной, недиагностированной тоске, и отца-врача, отстраненного от семьи, интересовавшегося только своей клиникой. Дом не был теплым гнездом. Он был красивой, тихой клеткой, где главным звуком было тиканье напольных часов в гостиной.

В одной из коробок, под стопкой школьных тетрадей с идеальным почерком Рафаэля, я нашла альбом. Не фотоальбом, а альбом для рисования. Его детские рисунки. Не яркие домики и солнышки, а сложные, почти архитектурные схемы. Лабиринты. И человечков в этих лабиринтах. На одной из поздних, уже подростковой рукой, была нарисована комната. В комнате — женщина у окна (окно было заштриховано плотно, крест-накрест). А в углу, маленькой, но четкой фигуркой, — мальчик. Он был нарисован спиной. И смотрел на дверь.

Меня вдруг бросило в жар, несмотря на сырой холод комнаты. Я отложила альбом, встала, подошла к настоящему окну. Дождь стих. Влажный сад был полон теней. Я представила его здесь. Мальчика, который изучал не внешний мир, а внутренний ландшафт своей семьи. Который видел беспомощность, замаскированную под порядок, и тихую панику, прикрытую шторами. Он не хотел разобраться с этим домом. Он хотел сбежать из него. Но сбежал так, что построил целую индустрию, чтобы разобраться с тем, что здесь осталось. Со всеми этими невротами, астениями, невысказанными страхами. Он создал систему там, где её не было. Навел порядок в хаосе чувств, потому что здесь, в этом порядке из дубовых панелей и выцветших обоев, царил беспорядок души.

Мой телефон тихо вибрировал. Сообщение от самого Рафаэля:

— Как продвигается погружение в истоки? Нашли корни дерева? —Ирония была в его стиле. Холодная, отстраненная.

Я посмотрела на разбросанные документы, на альбом с лабиринтом. Корни этого дерева уходили не в плодородную почву, а в болото молчания и непонимания. Оно росло не к солнцу, а из темноты, с яростной, отчаянной силой, чтобы просто выжить. Чтобы создать клиники, где чужую боль наконец-то называют по имени, потому что здесь, в этом доме, её именем было запрещено называться.

Я не нашла ответов о семье богатого мужчины. Я нашла вопросы, из которых он был соткан. И поняла, что книга, которую он ждет, никогда не будет написана. Потому что правда этого дома не складывалась в гладкую историю успеха. Она складывалась в диагноз, поставленный постфактум целому детству. И моя работа была не в том, чтобы дать ответы, а в том, чтобы научиться правильно, по всем терапевтическим канонам, задавать вопросы самому себе. От имени мальчика, который все еще стоял спиной в углу нарисованной комнаты, глядя на дверь.

Но никаких дневников я так и не обнаружила.

Глава 3. Элизабет.

Старая библиотека. Я теперь частый гость этой комнаты. Запах только что приготовленного кофе разошелся по полкам с книгами, когда дверь за моей спиной скрипуче прозвучала.

Рафаэль вошел. Мы сели в углу на низком диване. Он откинулся на спинку, и пряди темных волос мягко упали на лоб, почти касаясь ресниц. Глаза были не просто голубыми — это был холодный, пронзительный аквамарин, цвет глубокой трещины во льду. Он смотрел не в глаза, а сквозь них.

Я начала с вопросов о бизнес-модели, о трендах на рынке психоуслуг. Он отвечал ровно, умно, терминами, но... Его голос был низким, чуть глуховатым, и каждую фразу он обволакивал паузой, во время которой его взгляд мягко блуждал по моему лицу, будто изучая карту незнакомой, но интересной территории. Мне приходилось отводить глаза к блокноту.

Когда я спросила о личной мотивации, он слегка наклонился вперед, положив лодыжку на колено. Рукав его белой рубашки закатился, открыв дорогие часы и жилистое запястье.

— Личная мотивация... — Он повторил, и уголок его рта дрогнул, не в улыбку, а в нечто более задумчивое. — Она всегда про то, чего не хватает. Тебе, другим. Про дефицит. И про желание этот дефицит... восполнить.

Он сделал паузу. В комнате стало очень тихо и немного жарко.

— Вы, наверное, в стрессовые моменты грызете кончик ручки, — вдруг сказал он, его взгляд скользнул по шариковой ручке в моих пальцах. — Или, точнее, грызли в университете. Сейчас сдерживаетесь. Но импульс остался.

Я невольно разжала пальцы, положив ручку на блокнот. Щеки покраснели — предательски, против воли. Он это заметил, конечно. В его глазах мелькнуло что-то вроде легкой, почти научной, заинтересованности.

— Простите, — он мягко поднял ладонь, жестом дипломата. — Не удержался. Это уже не интервью, это профессиональная болезнь. Видеть шаблоны.

Дальше было хуже. Задавая вопрос о балансе работы и жизни, я запнулась на слове «гармония». Он внимательно посмотрел на меня, и в его взгляде появилась та самая терапевтическая, бездонная эмпатия, от которой хочется либо плакать, либо бежать.

— Гармония — это миф, который нам продают, — сказал он, и его голос стал на полтона тише, интимнее, будто он делился секретом. — Настоящее состояние — это динамическое равновесие. Как у вас сейчас: вы хотите провести хорошее интервью, но слегка напуганы. Адреналин и собранность. Это и есть жизнь — напряжение между полюсами.

Он улыбнулся. Впервые за всю встречу. Улыбка была не широкой, а односторонней, теплой и от этого еще более сбивающей с толку. Она меняла его обычно строгое лицо, как внезапный луч солнца в серой комнате.

Я чувствовала себя как под микроскопом — прозрачной, разобранный на составные части: учащенный пульс, защитный жест скрещенных ног, нервный поиск взглядом точки опоры. Он не делал ничего неподобающего — был корректен, точен, даже обаятелен в своем холодном стиле. Но каждый его вопрос, каждый взгляд казался аккуратным надрезом, вскрывающим не бизнес-процессы, а мою собственную, сиюминутную неуверенность.

В конце, прощаясь, он пожал мне руку. Его рука была сухой и теплой.

— Спасибо за беседу, — сказал он. — Вы задаете очень глубокие вопросы. Иногда... даже слишком.

И отпустил руку, но его взгляд еще на секунду задержался на моем лице, будто ставя мысленную точку в только что проведенном кратком анализе. Я вышла из библиотеки, чувствуя странную пустоту и легкую дрожь в коленях, будто только что сошла с американских горок, а не поговорила с успешным бизнесменом. Я получила свое интервью. Но осталось стойкое

ощущение, что это он, всего за час, ненавязчиво и безжалостно, провел со мной сеанс. Бесплатный демо-урок. И поставил невидимый диагноз: «интересно, но нервничает».

Мои ноги сами понесли меня прочь от того места, где мы только что беседовали. Снова лицо покраснело. Серьезно?

— Лиз, тебе пятнадцать? — сама не понимая, спросила я себя.

В библиотеке я так ничего не смогла найти по своим новым вопросам, поэтому попросила Анну провести меня в подвал дома.

— Там хлам, — буркнула экономка, подавая ключ. — Старье. Сжечь надо.

Ключ повернулся с трудом. Запах, хлынувший из темноты, заставил меня кашлянуть — не книжная пыль, а сладковатый, удушливый дух застоявшегося воздуха, духов с нотой ириса и чего-то еще... лекарственного. Фенол? Оранжевый свет загорелся вокруг, на полках был тот самый хлам, который можно найти в любом доме. Меня привлекла большая черная коробка. На самом дне, под стопкой вышитых салфеток и пачкой писем в розовых конвертах, я нащупала твердый переплет.

Дневник был тяжелым, кожаным, с тусклой серебряной застежкой. На обложке были вытиснены инициалы: «М.Б.». Мария Браун. Младшая сестра деда Рафаэля, о которой в монографиях писали скупо: «рано угасла», «страдала нервным расстройством».

Первый лист был как открытка из другого мира. Изящный, тончайший почерк, чернила цвета сепии. Описание бала в усадьбе, платья из парижского газа, восторженные строки о брате: «Арсений сегодня читал новые стихи. В них такая тоска, такая бездна... Он видит то, что скрыто. Я начинаю понимать его».

Идиллия длилась недолго. Уже через несколько страниц в ровные строки начали врываться кляксы, будто от внезапного вздрагивания пера. Почерк то сжимался, становясь острым и колючим, то растекался в неровных, широких строчках.

«15 сентября. В парке, у грота. Я шла за ним. Я видела его спину — сюртук, трость. Я окликнула: «Арсений!» Он обернулся. Это был не он. Лицо... как бывает лицо у восковой куклы, что стояла у нас в детской, когда ее подносят слишком близко к камину. Оно поплыло. Оно улыбнулось мне его улыбкой и сказала его голосом: «Что, Мари, испугалась?» Я побежала. Бежала, пока не упала. Брат нашел меня у пруда. Спрашивал, что случилось. Я не смогла сказать. Он смотрел на меня такими грустными, такими ЖИВЫМИ глазами».

Потом были описания «шепота из каминной трубы», который складывался в стихи брата, но наизнанку, с чудовищным смыслом. «Теней на портретах предков», которые поворачивали головы, когда в зале никого не было. Но самое страшное началось, когда Мария написала о «зеркале в красной гостиной».

«Оно не отражает, — вывела она дрожащими буквами. — Оно ПРОПУСКАЕТ. Сегодня я видела там комнату. Эту же, но другую. Стены были покрыты не обоями, а чем-то влажным, пульсирующим. А на моей кровати... на моей кровати лежало Нечто. Оно было с моими чертами, но искаженными, как будто их стерли и нарисовали заново неумелой рукой. И оно смотрело на меня. И манило пальцем. Я разбила зеркало. Горничная сказала, что я порезалась во сне».

На полях появились резкие, нервные наброски — не цветы и птицы, а бесформенные клубки линий, в которых угадывались то пустые глазницы, то раскрытые в беззвучном крике рты. А потом — прямые, страшные строчки, написанные уже не чернилами, а, как показалось мне, подсохшей коричневой краской или чем-то еще:

«Они думают, что я больна. Доктор прописал бромистые соли. Брат смотрит с жалостью. Он не понимает, что они здесь. Они были здесь всегда. Эта усадьба построена не на земле. Она построена на НИХ. И они просыпаются. Арсений пишет свои стихи, думая, что ловит эхо иного мира. Он не ловит. Он КОРМИТ. Своими мыслями, своей тоской. И они, наевшись, лезут в щели. Ко мне. Потому что я вижу. Я единственная, кто видит.»

Последняя запись была датирована днем перед отъездом Марии в лечебницу в Швейцарию, откуда она не вернулась.

«Сегодня ночью оно пришло ко мне в последний раз. Не тень. Не отражение. Оно село на краешек кровати. Дышало. Дышало тем запахом — мокрой земли из-под фундамента и старой, запекшейся крови. Оно сказала: «Твоя комната теперь наша. Мы будем ждать здесь следующую, которая будет смотреть. И слушать». Я зажмурилась. Когда открыла — его не было. Но я знаю. Оно здесь. Оно просто ждет».

Я оторвалась от пожелтевших страниц. Тишина Усадьбы больше не казалась законсервированной. Она казалась ПРИТВОРНОЙ. Глухой, натянутой пеленой, за которой что-то притаилось и замерло, прислушиваясь к стуку сердца. Я медленно подняла взгляд от дневника к стрельчатому окну. В темном стекле, кроме смутного отражения моего собственного бледного лица, ничего не было.

Но где-то в глубине усадьбы, прямо над полом этой комнаты, глухо и одиноко пробили старые стенные часы. И внезапно, с леденящей ясностью, показалось, что эхо их боя не рассеялось, а застряло в узорах на потолке... и теперь медленно, нехотя, растворяется в воздухе, смешиваясь с тем самым запахом — мокрой земли и запекшейся крови, который она до этого момента лишь воображала.

Тело рвануло в сторону выхода, ноги неслись на второй этаж, мне нужно было убежище, спрятаться. Что это за место такое?

Слепящий электрический свет подвала сменился тусклыми сумерками позднего осеннего дня. Я вышла на крыльцо служебного флигеля, глотнула холодного, влажного воздуха, пытаясь стряхнуть оцепенение после часов, проведенных среди пожелтевших счетов и дневника. Дневник Марии, которая страдала психологическим расстройством. Сама поставила диагноз, не думая о том, что в этом мрачном месте могли быть призраки. Да и вообще о существовании потустороннего мне мало хотелось думать. В руках я сжимала папку с первыми, еще робкими заметками для биографии Рафаэля Винкельмана.

И тут я его увидела. Он стоял у центрального входа в дом, рядом с темным внедорожником, водитель укладывал в багажник аккуратный, дорогой чемодан. Мистер Винкельман. Мой работодатель и, на эту неделю, фактически тюремщик в этом огромном, молчаливом имении.

Он заметил мое движение и повернул голову. Лицо его, обычно замкнутое и отстраненное, сейчас казалось слегка озабоченным.

— Элизабет. Я как раз собирался вас предупредить, — его голос, низкий и ровный, разрезал сырую тишину. — Меня неожиданно вызывают в столицу. Дела, требующие личного присутствия.

Я подошла ближе, чувствуя, как под ногами хрустит влажная гравийная крошка, в нос ударил запах гвоздики, ладана и чёрного перца.

— Надолго?

— Неделю. Возможно, чуть больше. — Он поправил перчатку, не глядя на меня. — Анна останется. Она присмотрит за домом и... за вами. Все необходимое вам обеспечено. Архивы в башне, как и договаривались, в вашем полном распоряжении.

В его тоне не было ни капли сомнения или беспокойства за меня, одинокую молодую девушку в заброшенном особняке. Была лишь холодная констатация факта.

— Я... понимаю, — сказала я, и мой собственный голос прозвучал чуждо мне, слишком громко в этом давящем пространстве. — Надеюсь, дела разрешатся благополучно.

Он кивнул, коротко и сухо.

— Не сомневаюсь. А вы — работайте. Мне нужна глубокая, детальная работа. Не парадный портрет, а суть. Все темные углы, все сложные решения. Не бойтесь копать глубже.

В его словах прозвучала странная нота. Не поощрение, а скорее... приглашение. Или предостережение?

— Я постараюсь оправдать ваше доверие, мистер Винкельман.

— Дом стар, — вдруг сказал он, глядя куда-то мимо меня, на чернеющие ели леса. — У него долгая память. Иногда он... делится ею. Не пугайтесь скрипов по ночам. Это просто бревна дышат.

Он открыл дверцу автомобиля.

— Мистер Винкельман... — неожиданно для себя остановила я его. — В архивах... я могу наткнуться на что-то... личное? Что-то, что, возможно, семья предпочла бы не обнаружить?

Он замер, рука на ручке двери. Его взгляд наконец сфокусировался на мне, стал пронизательным, почти колющим.

— Моя семья, Элизабет, — произнес он медленно, — как и любая другая, имеет свои скелеты в шкафу. Ваша задача — не вывалить кости на солнце, а понять, какую форму имел скелет. И почему его спрятали. Всё, что найдете, имеет значение. Всё — часть истории.

Он сел в машину, и окно соскользнуло вниз.

— Анна знает, где я. В экстренном случае. Но, полагаю, вам вряд ли что-то понадобится. Дом надежен. И тих.

С этими словами окно поднялось, двигатель заурчал, и внедорожник тронулся, медленно пополз по аллее, поглощаясь сгущающимися сумерками.

Я стояла на том же месте, пока красные огни задних фонарей не растворились в сизой пелене тумана. Тишина, которую он оставил после себя, была иной — окончательной и всепоглощающей. Словно огромная, древняя машина, наконец осталась без присмотра хозяина и теперь могла начать свой собственный, неторопливый ход.

Я повернулась и посмотрела на особняк. Окна, отражающие свинцовое небо, смотрели на меня теперь как слепые, но внимательные глаза. «Всё, что найдете, имеет значение», — эхом прозвучали в голове его слова.

Глава 4. Элизабет.

Тишину старого кабинета разрезал визгливый, современный рингтон. Я вздрогнула, оторвавшись от пожелтевшего письма 1894 года. На экране телефона прыгало имя: Энн.

Я приняла вызов, и в ухо сразу же ударил поток энергии, столь чужеродной в этом застывшем мире.

— Эй, ты жива? Я уже картину нарисовала: тебя съели крысы-мутанты размером с таксу, а твой мистер миллиардер потом твои косточки в золоте оправит и будет показывать гостям как арт-объект!

— Привет, Энн, — я с трудом выдавила улыбку, откидываясь на спинку кресла. Голос подруги был как глоток крепкого кофе — обжигал, но возвращал к реальности. — Нет крыс. Пока что. Только пыль и призраки.

— О, боже, о призраках! — голос Энн понизился до драматического шепота. — Так это правда? Я нарыла в инете! Это ж надо, какую контору ты нашла! Винкельманы. Там же история — темнее черной икры. Самоубийства, исчезновения, какая-то тетка, которую в начале века в психушку упекли... Говорят, она там не умерла, а сбежала обратно в усадьбу и до сих пор по чердакам шляется. Ты одна в этом музее ужасов! У тебя хоть связь есть?

Я невольно бросила взгляд на массивную дверь кабинета, будто ожидая увидеть в щели бледное лицо.

— Связь есть, да. И не одна я, тут старая... экономка, Анна. Она где-то в дальнем флигеле.

— «Где-то»! Охрентельно успокаивает. Слушай, а что с самим-то владельцем? Твоим заказчиком? Ты же в него уже по уши влюбилась, признавайся. Все эти замки, портреты предков, трагическая загадочность во взгляде... Это же классический сет-ап для готического романа! Только ты вместо хрупкой леди в джинсах и с диктофоном.

— Энн, перестань, — я почувствовала, как по щекам разливается тепло, и была благодарна, что подруга этого не видит. — Он не «трагически загадочный». Он просто... сдержанный. Уехал в командировку.

— Уехал?! — вскрикнула Энн. — И бросил тебя одну в логове семейных проклятий? Может, он тебя специально подставил? Чтобы ты что-то нашла... или чтобы что-то с тобой случилось, пока он далеко и у него алиби!

— Ты слишком много смотришь криминальных драм, — вздохнула я, но тревожный комок в горле сжался туже. Слова мистера Винкельмана «не бойтесь копать глубже» прозвучали в памяти с новым, зловещим оттенком.

— Ладно, драмы драмами, но мужик-то, говорят, с лица — просто огонь. Я видела одно старое соц-сет фото с какой-то благотворительной галереи. Это ж надо такому родиться — и деньгами припекать, и выглядеть как топ-модель с такими острыми скулами, что хочется об них порезаться. Seriously, Лиз, будь осторожна. Горячие мужчины с темным прошлым и огромными особняками — это либо вампиры-сексуалы из книжек, либо психопаты в реале. Иногда и то, и другое сразу.

В этот момент где-то наверху, на втором этаже, громко хлопнула дверь. Я вздрогнула так, что чуть не выронила телефон.

— Что это? Ты что, не одна? — мгновенно насторожилась Энн.

— Ветер, наверное, — быстро сказала я, подойдя к двери кабинета. Приоткрыв ее, я высунула голову в темный коридор. Было тихо и пусто. — Старый дом, всё скрипит.

— «Ветер», — передразнила меня Энн без всякой убежденности. — Ладно, я тебе каждые три часа буду писать. Ты мне будешь отправлять селфи на фоне лепнины, чтобы я знала,

что ты цела. И если этот твой Рафаэль или призрак сумасшедшей тетки начнут вести себя подозрительно — ты сразу в тачку и драпаешь. Поняла?

— Поняла, поняла, мамочка, — улыбнулась я, и на этот раз улыбка была искренней, благодарной.

— И, Лиз... — голос Энн снова стал серьезным. — Если найдешь что-то действительно страшное в этих архивах... может, не надо копать до конца? Некоторые ямы лучше не раскапывать. Особенно в одиночку.

Разговор закончился. Я опустила телефон, и тишина снова обволокла меня, но теперь она была не такой абсолютной. Она была населена словами Энн. Призраками. Психушкой. Психопатами с алиби. И образом «горячего мужчины» с лицом, которое, я вынуждена была признать, и правда не выходило у меня из головы — эти пронзительные, слишком внимательные глаза, которые, казалось, видели не меня, а что-то сквозь.

Я подошла к окну. Ночь была глухой, ни огонька вдали. Только мое отражение в темном стекле и бездонная чернота парка за ним. Где-то там бродила Анна. Где-то в стенах, возможно, на самом деле пряталась память о безумной Марии. А где-то в городе был он. Рафаэль. Который велел копать глубже.

И я внезапно с абсолютной ясностью поняла, что боюсь не призраков прошлого. Я боюсь того, что могу найти. И того, что за всем этим стоит он. Тот самый, про кого Энн сказала «огонь». Огонь, который может и согреть, и спалить дотла.

Тело устало, глаза наполнились дымкой. Моя голова прикоснулась к мягкой подушке, и сознание отлетело прочь от призраков, особняка и мистера Рафаэля с его идеально острыми скулами.

Тишину ночи разорвал сухой, короткий стук. Потом еще один. Не скрип ветки, не шорох листьев — отчетливый, злой щелчок камня о стекло.

Вынырнув из глубин сна, сердце колотилось где-то в горле. В комнате царил синеватый полумрак, отлитый лунным светом, пробивавшимся сквозь шторы. Я замерла, вслушиваясь в стук собственной крови в висках. Тишина. И вдруг — тук! Третий камень. Точный, настойчивый.

Сердце упало в пятки. Я скользнула с кровати, босые ступни коснулись холодного паркета. Подкралась к окну, затаив дыхание. Кончиками пальцев отодвинула край шторы, создав узкую щель.

Двор внизу был залит бледным, почти призрачным светом. Тени от яблонь лежали на траве длинными, искаженными пятнами. И прямо посреди лужайки, в этом лунном бассейне, стоял Он.

Высокий, в темной, бесформенной худи, капюшон натянут на голову. Лица не было видно, только черный провал. Он не двигался. Не пытался скрыться. Он просто смотрел вверх, на мое окно, будто знал, что я уже тут, будто ждал этого. В его позе не было ни угрозы, ни паники. Было ожидание. Спокойное, леденящее душу ожидание, как будто все происходящее — лишь часть какого-то молчаливого, ужасного ритуала.

В его опущенной руке что-то тускло блеснуло. Мелкий камень, гладкий речной гольш. Он перекачивал его в пальцах с мертвой, механической неторопливостью.

Я отпрянула от стекла, прижав ладонь ко рту, чтобы заглушить собственный крик. Холодный паркет жег пятки. Тишина за окном стала густой, вязкой, давящей. Он все еще был там. Я это чувствовала кожей. И знала, что сейчас, через секунду, раздастся новый стук. Потому что игра только началась. И ход был за ним.

Тишину в комнате разорвал резкий, назойливый виброзвонок. Я вздрогнула, словно от удара током. Мой взгляд, приклеенный к темной фигуре в саду, на секунду оторвался. Телефон на тумбочке светился болезненным синим светом, освещая край подушки.

Он не может звонить. Он не знает номера.

Но это было сообщение. Пальцы, ледяные и непослушные, нащупали холодный стеклянный экран. Уведомление всплыло на черном фоне, как капля яда.

Неизвестный номер.

СМС: Ты увидела меня. Теперь я иду к тебе. Дверь не заперта.

Текст плыл перед глазами. Дверь не заперта. Она всегда запирается автоматически. Всегда. Я бросилась назад к окну, сердце колотилось так, что перехватывало дыхание. Лужайка была пуста.

Там, где только что стоял он, теперь была лишь смятая трава. И тень от вишни, ставшая длиннее и чернее.

Потом я увидела движение. Там, у самого края поляны, где начиналась тропинка к черному ходу дома. Тень отделилась от других теней. Он шел. Не бежал, не крался. Шел размеренным, неотвратимым шагом человека, который знает дорогу. Капюшон по-прежнему скрывал лицо, спина была прямая. Он не оборачивался. Он просто шел к дому. К двери. Которая, как шептал холодный ужас в моей голове, действительно могла быть не заперта. Я помнила звук щелчка, когда заходила вечером... или мне только казалось?

СМС лежало на экране, непроверяемое и мертвое. Он не просто кидал камни. Он вел меня. Заставил подойти к окну. Увидеть себя. А теперь шел завершить то, что начал. И между ним и мною были только стены старого дома и сомнительная защита двери, в замке которой я сейчас не была уверена на все сто.

Виброзвонок прозвучал снова. Новое сообщение.

Неизвестный номер.

СМС: Привет, Лизи.

Я застыла в ледяной тишине. Из нижнего этажа не доносилось ни звука: ни скрипа половиц, ни щелчка замка. Только собственное дыхание, свистящее в груди, и гулкая тишина, которая оказалась хуже любого шума.

Потом я его услышала. Не шаги. Просто... присутствие. Густое, тяжелое, как спертый воздух перед грозой. Оно напозало снизу по лестнице, просачивалось сквозь щели в полу. Я медленно, сковывающими движениями, отступила от окна, упершись спиной в холодную стену у изголовья кровати. Мой взгляд был прикован к полоске света под дверью в коридор.

Свет под дверью потемнел.

Не погас, а именно потемнел. На него легла ровная, четкая тень. Неподвижная. Он стоял там. По ту сторону тонкого деревянного полотна. Не стучал. Не пытался войти. Просто стоял.

В груди что-то оборвалось, и начался знакомый, ужасающий сдвиг. Мир заиграл красками — не яркими, а кислотными, грязными. Звук собственного сердца превратился в глухой бой барабана где-то в висках. Страх, липкий и всепоглощающий, не парализовал, а закипал, превращаясь в яростную, слепую пену. Как будто в мозгу перегорал предохранитель, отвечающий за страх, и на его место вставала первобытная, хищная агрессия.

«Уйди, уйди, уйди, уйди», — стучало в такт пульсу. Но это уже была не мольба. Это был ритм готовящегося к атаке зверя. Пелена перед глазами накрыла меня окончательно, проблески прошлого ударили в мозг. Авария. Все из-за нее.

Я не помню, как оказалась у двери. Просто в следующий миг моя ладонь уже впивалась в холодную ручку. Дыхание стало коротким, прерывистым, из горла вырывался низкий, нечеловеческий рык. Я больше не боялась его. Я хотела его разорвать.

Резким, яростным движением мое тело рвануло дверь на себя. И застыло. В нос ударил запах черного перца и ладана. Глаза расширились от воспоминаний, как я провожала Рафаэля у выхода из дома.

Он стоял в полуметре от порога, в темном коридоре. Все так же в капюшоне, руки опущены по швам. Без позы угрозы. Без оружия. Он был неподвижен, как статуя. Его лицо по-прежнему скрывала тень.

Адреналин сжег остатки страха, превратив его в чистый, неконтролируемый взрыв. Вот он стоит, прямо передо мной. Это было нарушением всех границ, концом мира. И это надо было остановить. Немедленно. Яростно.

Я не бросилась на него. Я налетела, но это уже не я — мое тело контролировало мою душу. Молниеносным, стихийным движением, рожденным в глубинах искаженного стрессом сознания, рука, сжатая в кулак, не целясь, со всей силы рванулась вперед — не в лицо, а в темную массу его туловища под капюшоном.

Удар пришелся в солнечное сплетение с глухим, воздушным хлопком.

Он даже не успел вскрикнуть. Из его рта вырвался только резкий, хриплый выдох, как у проколотого мяча. Он сложился пополам, глаза закатились, и он рухнул на пол в коридоре, тяжело и неуклюже, ударившись плечом о дверной косяк. Капюшон съехал, но в полутьме, заливаемой лишь резким светом с экрана моего упавшего телефона, я не увидела лица. Только силуэт, скрюченный в немой агонии, борющийся за глоток воздуха.

И это меня не остановило. Ярость не утихала, она требовала действий, разрушения угрозы. Босая нога сама по себе дернулась вперед — не для того чтобы ударить лежащего, а чтобы отшвырнуть прочь тот предмет, что выпал из его расслабленной руки и звякнул по паркету.

Предмет отлетел в темноту с сухим стуком. Это был не камень. Что-то маленькое, твердое, металлическое. Но мозг уже не анализировал. Угроза была нейтрализована, но не уничтожена. Он лежал, хрипя, и мог подняться.

Я отпрыгнула назад, в спальню, и с дикой силой захлопнула дверь, щелкнув замком. Потом прислонилась к холодному дереву спиной, вся дрожа, но уже не от страха. Дрожь была иной — лихорадочной, послебоевой. В ушах звенело. В груди пылал огонь. Я смотрела в темноту своей комнаты расширенными зрачками, слушая, как с той стороны двери кто-то тихо, мучительно пытается вдохнуть.

Он незнакомец. Он ворвался. Он получил по заслугам. Эти мысли бились в такт бешеному пульсу. Но куда-то в самый низ, под пласт этой оправдывающей ярости, начинал просачиваться холодный, тошнотворный осадок. А что, если... Что, если он не хотел врываться? Что, если сообщения... а предмет, который отлетел...

Тело медленно сползло по двери на пол, обхватив колени руками. Агрессия отступала, оставляя после себя пустоту и леденящую дрожь. А там, за тонкой створкой, в темноте дома, лежал человек. И я не знала, кто он, жив ли он, и что делать дальше. Только сжимала телефон в липкой от пота ладони, готовая набрать 911, но палец замирал над экраном. Потому что первым вопросом будет: «Что случилось?». А я не знала ответа. Знала только вкус своей собственной, вышедшей из-под контроля тьмы. Тело обмякло, и я больше не смогла контролировать слабость, наполняющую меня изнутри.

Солнце било в глаза, жесткое и безжалостное. Я моргнула, разлепляя ресницы. Голова гудела тупой, знакомой болью — как после тяжелой пьянки, только без привкуса во рту. Тяжесть. Пустота. Я лежала на кровати.

Потянувшись, взгляд упал на дверь спальни. Она была закрыта. Всё как всегда. Тишина. Птицы за окном. Обычное утро.

С трудом поднявшись, я потопала на кухню, налила стакан воды. Рука дрогнула, и вода пролилась на стол. Я смотрела на растекающуюся лужу, пытаюсь собрать в кучу обрывки мыслей. Ночью... что-то было. Плохой сон? Очень плохой.

Стекло. Камни. Темная фигура в саду, залитом лунным светом.

Я резко подошла к окну, распахнула его. Свежий утренний воздух обжег лёгкие. Я высунулась всем торсом, вглядываясь в сад внизу. Роса на траве, тени от деревьев стали короче и безобиднее. Никого. Никаких следов.

Сон, — решила я с облегчением, которое тут же смешалось с подспудной тревогой. Сон настолько яркий, что казался реальностью.

Вернувшись в спальню, чтобы заправить кровать, моя нога наткнулась на что-то твёрдое, закатившееся под комод. Я наклонилась. Из пыльной тени под мебелью тускло блеснул металл.

Это был маленький, изящный свисток. Старинный, серебряный, с тонкой гравировкой в виде виноградной лозы. Чужой. Совершенно чужой в этом доме. В этой комнате.

Я взяла его в руки. Металл был холодным. От него веяло чем-то... не моим. Тревога в груди сгустилась, превратившись в холодный, тяжёлый ком.

Тогда я обошла комнату, внимательно, как сыщик. И нашла. На паркете у порога, почти невидимый, если не знать, куда смотреть — крошечный скол, свежий, со светлой древесиной внутри. Как будто что-то тяжелое упало и ударилось об угол.

А потом мой взгляд упал на внешнюю сторону двери в спальню, ту, что выходила в коридор. На уровне плеча, на светлом дереве, был слабый, но различимый отпечаток. Нечеткий, смазанный, как будто кто-то прислонился лбом к двери, чтобы послушать. Или упал на нее. А ниже, почти у самого пола — едва заметная, бурая, давно высохшая полоска. Похожая на след от чего-то липкого.

Сердце в груди замерло. Это был не сон. Фигура в саду была реальна.

Но что было дальше? Провал. Чёрная, беззвёздная дыра в памяти. Между видением в окне и этим утром лежала пустота, населённая только смутным чувством леденящего ужаса и... странной, мышечной усталостью, будто я всю ночь дралась или бежала.

Сжав в ладони холодный свисток, глядя на скол на полу и тёмное пятно на двери, я поняла. Кто-то был в доме. И это была не Анна. И что-то произошло. Что-то, о чём мой собственный разум отказался помнить, оставив лишь вещественные доказательства и тихий, непрекращающийся звон паники в самой глубине сознания.

Глава 5. Элизабет.

Сегодня я снова пойду искать, и теперь даже мне не известно, будет ли это биография Рафаэля Винкельмана или же прошлое тех, кто яростно пытался здесь выжить.

Громкими шагами, направляясь в главную библиотеку на первом этаже, я распахнула дверь. Глаза бегали по огромным полкам. Слишком много книг. Не смотря под ноги, я двинулась вперед и, повернув за угол первого стеллажа, ногой зацепила что-то на полу. Потеряв равновесие и ударившись о стенку, я рухнула вниз, а следом за мной посыпались книги.

Мой взгляд опустился на выступ из-под пола. Я не видела его раньше. Легким движением руки деревянный кусок поддался мне. Внутри лежала тетрадь с инициалами посередине «В. В.», завязанная как подарок коричневой бечевкой. Потертая, бежевая, с багровыми пятнами — то ли кофе, либо то, о чем я не хотела думать.

Опустившись на пол, поджав ноги под себя, я потянула за нить. Это был дневник. Снова дневники.

12 марта. Вторник.

Назначили нового психиатра. Или психотерапевта? Не помню. Зовут Феликс Беккер. Спросил, что я здесь делаю. Я сказала: «Не знаю». Он сказал: «Правильный ответ». Глупо. Я здесь, потому что не могу быть там. Не могу быть там, где люди не смотрят в углы, прежде чем сесть. Не могут слышать тишину между ударами своего сердца. Выписал таблетки. Говорит, нужно «снизить тревожный фон». Как будто тревога — это обои, которые можно переклеить. А не воздух, которым дышишь. Не вода, в которой плывешь.

Кошка сегодня мяукнула слишком громко. Я разрыдалась. Мама снова смотрела с этой смесью жалости и усталости. Мне от ее взгляда хочется исчезнуть.

14 марта. Четверг.

Таблетки. Они не делают тишину. Они делают вату. Все звуки, все мысли, все чувства — через толстый слой стерильной ваты. Я не боюсь так остро. Но я и не живу. Я — аквариум с затуманенными стеклами. Рыба внутри двигается медленно, лениво. Ей все равно.

Феликс Беккер спрашивал про сны. Я не сказала про повторяющийся. Тот, где я подхожу к зеркалу, а отражение делает это на секунду позже. И его глаза — пустые. Совсем. Как у той куклы в бабушкином сундуке. Он, наверное, подумал бы, что это «символ утраты самоидентификации». Может, и так. А может, это просто сон. Или предупреждение.

19 марта. Вторник.

Инцидент в метро. Состав застрял в тоннеле. Свет мигнул. И на секунду — меньше чем на секунду — я увидела не людей в вагоне. Увидела силуэты. Темные, вытянутые. Без лиц. А потом свет зажегся, и все были снова людьми. Сумками, телефонами, усталыми лицами. У девушки напротив даже была смешная шапка с помпоном.

Но я не могла отдышаться до самой станции. Феликс говорит, это диссоциация. Защитный механизм психики. Что мой мозг, чтобы не сломаться от перегрузки, «отключает» людей, делает их абстракциями. Звучит логично. Почему же тогда было так страшно? Почему я до сих пор чувствую ледяной ком под ребрами, когда вспоминаю те пустые силуэты?

25 марта. Понедельник.

Маленькая победа. Сегодня сама сходила в магазин за хлебом. Не замирала перед входом. Не убежала, когда кто-то резко засмеялся за моей спиной. Купила хлеб и еще шоколадку. Съела ее на лавочке. Солнце светило. Было почти нормально. Записала это как доказательство. Иногда кажется, что все хорошие дни — обман. Что они вкраплены специально, чтобы потом, когда рухнет все обратно, было еще больнее. Но сегодня... сегодня было просто солнце и шоколадка.

1 апреля. Понедельник. (Не смешно).

Срыв. Все рухнуло. Из-за пустяка. Потеряла ключ. Обычный ключ. Полчаса рыдала на полу в прихожей, не в силах пошевелиться. Это не было про ключ. Это было про ощущение, что я не могу удержать даже ЭТО. Самую маленькую, простую часть своей жизни. Она выскальзывается из пальцев. Как все. Как мысли, как спокойствие, как связи с людьми.

Феликс сказал, что это нормально. Что путь не линейный. Что будут откаты. Легко говорить, когда ты по эту сторону стола. Когда твой мир не рассыпается в пыль из-за потерянного ключа.

7 апреля. Воскресенье.

Читала старые записи. Вижу прогресс. Вижу, что между «инцидентами» теперь есть пробелы в несколько дней. Раньше их не было. Раньше каждый день был полем боя. Сейчас... сейчас скорее партизанская война. Засады, вылазки, но есть и тихие зоны.

Сегодня целый час вышивала. Просто так. Игла вверх, игла вниз. Никаких глубоких мыслей. Никакого ужаса. Просто нитка и канва. Это и есть то самое «заземление»? Когда ты не в прошлом, не в будущем, не в своих кошмарах. Ты — здесь. Кончик иглы. Следующая петелька. Дыхание.

15 апреля. Понедельник.

Разговор с мамой. Не о моем состоянии. Обычный. Про ремонт у соседей, про сериал. Мы пили чай. И я поймала себя на мысли, что мне не больно. Что я не чувствую эту привычную стену из стыда и вины между нами. Она просто была мамой. А я — дочкой. На десять минут. Потом мы замолчали, и тревога, как холодный туман, начала подползать снова. Но эти десять минут... Они были настоящими. Я их не выдумала. Я их не украдала. Они были.

20 апреля. Суббота.

Сон. Снова зеркало. Но сегодня, когда отражение отстало, я не отпрянула. Я посмотрела в эти пустые глаза и спросила (во сне, конечно): «Чего ты хочешь?». Оно ничего не ответило. Просто медленно подняло руку и приложило ладонь к стеклу с моей стороны. А я (я во сне) приложила свою — с этой. Стекло было холодным. И... всего лишь стеклом. Проснулась с ощущением странного спокойствия. Не победы. Перемирия, что ли.

25 апреля. Четверг.

Феликс сегодня сказал, что мы делаем большие успехи. Я не чувствую «успехов». Я чувствую, что иногда, не всегда, могу дышать глубже. Что иногда падение не в бездну, а на одну ступеньку ниже. И что у меня есть силы подняться обратно. Не сразу. Но есть.

Завела новую тетрадь. В эту бежесую грязь больше не буду писать. Он был про тьму, про вату, про силуэты в метро. Нужна новая. Может, синяя. Цвет неба, которое иногда бывает за окном. В те самые редкие, чистые дни.

Это не конец. Я знаю, что завтра может быть снова тяжело. Но сегодня я заканчиваю эту тетрадь не на крике, а на тихом выдохе. И это уже что-то.

Слеза скатилась по щеке. Она справляется, я рада. Но сердце резко задрожало, рядом встал резкий силуэт чего-то. Черное пятно, повернувшись я вскрикнула от ужаса.

- Твою мать! - выругалась я, когда увидела перед собою серебристый гладкий волос, заканчивающийся на пучке, - Анна, какого черта? - не смогла совладать с эмоциями, она же, будто ничего и не произошло, монотонно ответила.

- Пора ужинать. Если не будете, я выброшу еду. И попрошу больше не выражаться.

- Я буду есть, - выдохнула я, поднимаясь с колен.

Сцена в кухне служебного флигеля была лишена домашней теплоты. Воздух здесь был такой же вымороженный, как и в главном доме, только вместо запаха пыли и тлена витал запах дешевого хозяйственного мыла и вареной свеклы. Экономка Анна, женщина с лицом, высеченным из серого гранита, двигалась по кухне с тихой, экономной точностью. Ее руки, покрытые сеткой старых ожогов, резали хлеб ровными, бездыханными ломтями.

Я сидела за столом из грубых досок. Передо мною стояла миска с бледной похлебкой и кусок того самого хлеба. Еда была топливом, а не удовольствием, ведь Рафаэля не было дома. Анна поставила рядом граненый стакан с кипятком — без чая, без сахара.

— Работа в библиотеке продвигается, — заявила Анна, не спрашивая. Ее голос был низким, ровным, как гул трансформатора. Она сама села напротив, но не есть, а наблюдать. Ее глаза, цвета мокрого асфальта, были неподвижны.

Я кивнула, заставляя себя поднести ложку ко рту. Похлебка была безвкусной.

— Да. Пищу биографию для хозяина.

— Биография, — повторила Анна, не меняя интонации. Это было не слово, а констатация факта, лишённая всякого интереса. — Хозяин не читает. Хозяин платит. Зачем ему ваши слова?

Вопрос висел в воздухе, острый и практичный, как ее нож для хлеба. Я почувствовала, как под взглядом этой женщины все ее академические оправдания — «сохранение истории», «систематизация» — рассыпались в прах.

— Чтобы оставить след, — попробовала возразить, но голос прозвучал слабо.

— След, — отчеканила Анна, — оставляют ноги на грязи или кровь на полу. Бумага след стирает. Или прячет.

Она медленно провела ладонью по столу, сметая невидимые крошки.

— В этой усадьбе бумаг всегда было много. Рецепты. Отчеты. Наблюдения. Людей здесь наблюдали. Записывали. Как кроликов. Или как насекомых под стеклом.

Я перестала есть. Ложка замерла в воздухе.

— Что вы имеете в виду?

— То, что говорю. — Анна не моргнула. — Старый хозяин, отец нынешнего, коллекционировал не только фарфор. У него была коллекция случаев. Люди с трещинами в голове. Он эти трещины... изучал. Замерял. Делал записи. Аккуратные. — Она ударила ребром ладони по столу, коротко и резко. — Как ваш хлеб.

Я почувствовала, как по спине пробегает знакомый холод. Дневники под полом, дневник Марии. Все это знала эта женщина. Или догадывалась.

— А что с ними стало? С этими... случаями? — спросила я, и голос стал тише.

Анна наклонилась вперед. Ее дыхание пахло луком и холодным металлом.

— Некоторые уехали. Тихими. Очень тихими. Будто внутри у них все переставлено было. Другие... — Она отвела взгляд к закопченному окну. — Другие стали частью усадьбы. Как балки в стенах. Невидимые, но необходимые для устойчивости.

Она встала, ее движения были лишены суеты, как движения автоматона.

— Вы копаетесь в старых бумагах, барышня. Будьте уверены: старые бумаги иногда копаются в ответ. И находят слабые места. — Ее взгляд, тяжелый и неумолимый, скользнул по моему лицу, по моим дрогнувшим рукам. — У вас уже нашли.

С этими словами она взяла пустую миску и ушла к раковине, оставив меня в ледяной тишине кухни. Тишине, которую теперь нарушало только мерное, методичное скрежетание ножа о точильный брусок. Звук, точно повторяющий тот, что доносился из-под пола библиотечной башни.

Добравшись до дна тарелки я почувствовала легкий горьковатый привкус. Такой бывает только у таблеток, когда мама заставляла их жевать, а не глотать. Анна так и стояла ко мне спиной, я ничего не сказав, направилась в свою комнату. Только когда поднималась по лестнице услышала сзади как закрывается дверь. Экономка уже шла по улице в сторону того самого западного крыла, куда нельзя было мне ступать. Зачем ей там идти, если там идет ремонт? Особенно в такой час? Как было прописано в правилах, в западном крыле не безопасно, слишком старое, но снаружи казалось очень даже новым, будто его построили совсем недавно.

Может, ее комната там? Это объясняет, почему в первый день, когда я услышала крик, Анна прибежала лишь спустя минут десять. Но почему западное крыло свежее, оно единственное дышало жизнью в этом месте. Оно было не из этого мира, а из моего, красочного, того, что я начинаю терять.

Ноги перебирали друг за другом, медленно по темному коридору второго этажа, пальцы скользили по шероховатым обоям с выцветшим растительным орнаментом. Я остановилась у большого зеркала в золоченой раме, которое почему-то теперь стоит в конце коридора над маленьким окном. В его глубине мое отражение казалось призрачным, пойманным в ловушку другого времени. И тогда я его услышала.

Не шаг. Скорее, смещение воздуха. Тихий скрип половицы, который прозвучал не спереди и не сзади, а где-то сбоку, в темном проеме двери, которая находилась напротив моей комнаты

Я замерла, не поворачивая головы. В зеркале, в самом краю отражения, мелькнуло движение. Кто-то только что вышел из той двери и встал у меня за спиной. В двух шагах. Сердце прыгнуло в горло. Медленно, преодолевая сопротивление собственных мышц, я обернулась.

Коридор был пуст. Свет от моего смартфона, дрожащий в руке, выхватывал только ковровую дорожку да массивную дверь в неизвестную комнату, приоткрытую в черную бездну. Но в воздухе висел запах — чужой, холодный. Мокрой шерсти и металла, и снова ладан.

Я рванулась к лестнице, ведущей вниз, в большой холл, где должно было быть безопаснее. Мои шаги гулко отдавались в тишине, но за ними, словно эхо с опозданием на полтакта, шел другой звук. Ровный, неспешный топот.

Я обернулась на бегу. На верхней площадке лестницы, в тени, стояла фигура. Высокая, в темном длинном пальто. И лицо... не лицо. На месте лица была маска. Фарфорово-белая, гладкая, с нарисованным черным контуром черепа — пустые глазницы, оскаленная улыбка. Но нижняя часть, от носа до подбородка, была вырезана. И в этом овальном проеме виднелись настоящие губы. Бледные, тонкие, плотно сомкнутые.

Он не двигался. Просто стоял и смотрел на меня пустыми нарисованными глазницами.

С криком, застрявшим где-то в пищеводе, я слетела вниз, в холл. Огромная комната тонула во мраке, только лунный свет струился через высокое окно-витраж, рисуя на паркете призрачные разноцветные пятна. Метнувшись к парадной двери — намертво заперта тяжелым ржавым болтом, который не поддался. К черному ходу на кухню? Но для этого нужно было пересечь весь холл, пройти мимо зияющей арки в темную столовую.

Топот раздался на лестнице. Не торопливый, а размеренный, властный. Он спускался.

Я ринулась в столовую. Длинный стол, накрытый пыльной скатертью, стулья, придвинутые к нему, как для мертвых гостей. Проскочив насквозь и юркнув в маленькую сервировочную, захлопываю за собой тонкую дверцу. Прижимаясь спиной к стеллажу с хрусталем, стараюсь не дышать.

Тишина. Потом — шаги в столовой. Медленные, тяжелые. Они обошли стол. Остановились прямо у двери в сервировочную.

Я видела щель под дверью. И тень, перекрывающую слабый свет из столовой. Длинная, искаженная тень человека в шляпе и с головой-черепом.

Он стоял. Минуту. Две. Я слышала собственное сердцебиение — громкое, как барабанная дробь. Потом тень качнулась. И медленно, очень медленно, на уровне моего лица в щель под дверью опустилась... белая полоска. Маска. Я видела только нижний край белого фарфора, черный контур глазницы и в прорези — бледные губы. Они изогнулись. Улыбнулись. Широко и неестественно.

Тень поднялась. Шаги удалились. Но не назад, в столовую. Они пошли вдоль стены. И тут я сообразила: в сервировочной был еще один выход. Узкий проход для слуг, ведущий обратно в холл, в самый его дальний угол.

Он не пытался открыть дверь. Он просто пошел меня обходить, отрезая последний путь к отступлению.

Паника, острая и соленая, ударила в виски. Я распахнула дверь в проход и бросилась бежать по узкому, темному коридорчику. Сзади, из столовой, донесся мягкий скрип половиц — он ускорил шаг.

Я выскочила в холл как раз напротив лестницы. И он уже был там. Стоял у моего подножья, повернув ко мне маску. Лунный свет через витраж падал прямо на нее, и теперь я видела маску во всех жутких деталях: слишком гладкую поверхность, идеально ровные зубья нарисованной улыбки. И настоящий рот под ней — влажный, живой, все так же улыбающийся. Между нами было двадцать шагов пустого паркетного поля. И никаких дверей.

Почему нет приступов? Вопрос ударил мне в виски, и я панически начала потряхивать руками. Где та тень внутри меня?

— Что ты хочешь? — выдохнула я, и голос сорвался в шепот.

Он не ответил. Только медленно поднял руку в черной перчатке и поставил указательный палец на свои губы в прорези маски. Жест «тише». Потом он сделал шаг ко мне.

Я отпрянула, спина ударилась о дверной косяк. Это была дверь в библиотеку. Я рванула на себя ручку — дверь поддалась. Влетев внутрь и, обернувшись, чтобы захлопнуть ее, увидела, как он уже на середине холла. Он не бежал. Он шел неспешной, почти прогулочной походкой, зная, что мне некуда деться.

Дверь захлопнулась. Защелка с слабым, ни на что не надежным щелчком. Я огляделась. Библиотека. Высокие стеллажи до потолка, пыльные громоздкие книги. И окно — большое, с распашной рамой, ведущее на террасу первого этажа.

Я подбежала к окну, откинула шпингалет. Рама открылась с тихим стоном. Ночной воздух, пахнувший сырой листвой и свободой, ударил в лицо. Перегнувшись через подоконник, собираясь прыгать на клумбу. Я замерла. Прямо под окном, на террасе, прислонившись спиной к каменной балюстраде, стоял Он. Запрокинув голову с белой маской-черепом прямо на меня. Его рот в прорези снова был растянут в той же невозможной, широкой улыбке.

Он ждал. Он знал. Он был здесь, и он был там. Он был повсюду.

Отчаяние, холодное и беззвучное, накрыло меня с головой. я отшатнулась от окна. В ту же секунду в дверь библиотеки с другой стороны кто-то тихо, но настойчиво постучал. Один раз. Два.

Тихий стук в дверь прозвучал как удар молоточка по хрусталу — звонко, отчетливо, перекрывая даже стук моего сердца. Я отпрянула от окна, где под маской-черепом улыбался мокрый рот, и обернулась к двери библиотеки. Стук повторился. Трижды. Негромко, но с чудовищной настойчивостью.

За дверью что-то тяжело, медленно провело сверху вниз — может быть, ладонью в перчатке, может быть, ногтем по старому дереву. Скрип, от которого заныли зубы.

Я метнула взгляд обратно в окно. Терраса была пуста. Он исчез. Но это не было облегчением. Это было хуже. Теперь он был нигде и везде. В воздухе, пропитанном запахом старой бумаги и пыли, в густой тени между высокими стеллажами.

Дверная ручка медленно, со скрипом, начала поворачиваться.

Я отшатнулась вглубь комнаты, за спиной у меня был массивный письменный стол. Я нащупала пальцами край — резной, холодный дуб.

Дверь распахнулась не сразу. Сначала возникла щель. В щели — полоска черного пальто, угол плеча. И снова — белизна маски. На этот раз он не стал входить весь. Он остановился в проеме, заполнив его собой, и медленно, с преувеличенной театральностью, повернул ко мне голову. Пустые глазницы маски казались бездонными в полумраке библиотеки. Его губы в прорези были влажными, слегка приоткрытыми.

— Крольчонок, — произнес он наконец. Голос был низким, бархатистым, с легкой хрипотцой. Он звучал негромко, но заполнил собой все пространство комнаты, как дым. — Ты забежала в самую глубую норку.

Он сделал шаг внутрь, и дверь сама собой тихо прикрылась за его спиной. Теперь мы были заперты здесь вдвоем. Широкая комната с высокими потолками внезапно сжалась до размеров клетки.

— Не подходи, — выдавила из себя Я. Голос дрожал, звучал детски-беспомощно.

Он лишь тихо рассмеялся. Звук был мягким, интимным, будто разделял со мной какую-то постыдную шутку.

— Но мы же только начинаем знакомство, — сказал он, делая еще один неторопливый шаг. Его длинные пальцы в черных перчатках разжались, повелительным жестом скользнули по корешкам старых книг на ближайшем стеллаже. — Эта усадьба... она любит гостей. Особенно таких трепетных. Чувствительных.

Он был уже в двух шагах от письменного стола. Я попяtilась, мои бедра уперлись в твердый край. Отступить было некуда.

— Что ты хочешь? — снова спросила я, и в этот раз это был уже не вызов, а мольба.

Он наклонил голову набок, маска застыла в жутком, внимательном выражении. Настоящий рот под ней изогнулся в сладострастной усмешке.

— Я? — он произнес это слово так, будто вкушал его. — Я хочу посмотреть в твои глаза, когда поймешь, что кричать бесполезно. Что никто не придет. Что за этими стенами — только ночь и мое терпение.

Он внезапно резко шагнул вперед, и его перчатка с громким стуком легла на столешницу рядом с моим бедром, отрезая путь к отступлению вбок. Я вскрикнула, прижалась спиной к полке за столом. Он навис надо мною, заполняя все поле зрения: черное пальто, белая маска, бледный рот так близко, что я чувствовала исходящее от него тепло и запах — черного перца, коньяка и чего-то металлического, острого.

— Ты дрожишь, — прошептал он, и его голос стал еще тише, еще интимнее. Он медленно, почти ласково, провел тыльной стороной перчатки по моей щеке. Касание было ледяным через тонкую кожу. — Как испуганный кролик. Это... восхитительно.

Его рука скользнула ниже, к ее шее, не сжимая, а лишь обрисовывая пальцами хрупкую линию горла поверх тонкого свитера.

— Я мог бы сломать тебя сейчас, — задумчиво сказал он, и в его голосе прозвучала неподдельная, клиническая заинтересованность. — Одним движением. Но где в этом изящество? Где... вкус?

Он наклонился еще ближе. Его губы в прорези маски оказались в сантиметре от моего уха. Шепот был горячим и влажным.

— Я буду преследовать тебя, крольчонок. По всем этим комнатам. По всем темным уголкам. Ты будешь бежать, а я буду идти. Ты будешь прятаться, а я буду находить. Пока у тебя не кончатся силы. Пока этот страх не перестанет быть острым и не станет... сладким. Пока ты сама не захочешь обернуться и посмотреть мне в лицо.

Он отстранился, оценивающе окинул меня взглядом сквозь неподвижные глазницы маски. Я застыла, парализованная не столько страхом, сколько чудовищной, извращенной интимностью этой сцены. Он не просто нападал. Он соблазнял. Соблазнял страхом, обещал погибель как последнюю, самую запретную близость.

— А теперь беги, — мягко скомандовал он, отступая на шаг и делая изящный, приглашающий жест рукой в сторону темного прохода между стеллажами. — Пока я даю тебе фору. Пока я считаю до десяти.

Он замолк. И в этой тишине, в его влажном, чуть учащенном дыхании, в блеске его глаз, угадываемых за маской, была обещанная пытка. Не быстрая расправа, а долгий, медленный танец, где я — добыча, а он — ценитель.

Я, не помня себя, рванулась в указанном направлении, в узкую щель между книжными полками, в глухую тьму библиотеки. Ноги подкашивались.

А он не двигался с места. Только повернул голову, следя за моим бегством. И начал считать. Голосом тихим, ровным, полным сладостного предвкушения.

— Раз... два... три...

Четыре... пять...

Его голос лился за мной по пятам, негромкий, но проникающий сквозь толщу пыльных книг и страх. Я металась в лабиринте стеллажей, как загнанное животное. Тьма здесь была густой, почти осязаемой, и только слабые лунные блики, пробивавшиеся сквозь дальнее окно, выхватывали из мрака то золотое тиснение на корешке, то полку, уходящую вверх. Шесть.

Я наткнулась на железную винтовую лестницу, ведущую на узкий балкон-галерею второго уровня библиотеки. Без мысли, на чистом инстинкте, я рванула наверх. Ступени звенели под ногами, выдавая каждый шаг. Семь.

С галереи открывался вид на всю библиотеку — море черных прямоугольников полок, островок письменного стола, освещенный теперь косым лучом луны. И он. Все так же стоял там, у стола, запрокинув голову с белой маской вверх. Смотрел на меня. Восемь.

— Отсюда вид лучше, не правда ли? — его голос донесся снизу, чуть громче, будто он приблизился к лестнице. — Но и бежать дальше некуда. Тупичок, крольчонок.

Девять.

Я отпрянула от перил, нащупывая путь вдоль стены галереи. Пол здесь был узким, едва метровой ширины. В конце был только глухой торец с высоким зарешеченным окном. Он был прав. Тупик. Десять.

Тишина.

Я прижалась к холодной стене, затаив дыхание, вцепившись взглядом в темный пролет лестницы. Оттуда должен был донестись звук его шагов. Но было тихо. Слишком тихо.

Потом я услышала другое. Тихое, едва уловимое позвякивание металла о металл где-то прямо над моей головой. Медленно подняв взгляд.

В потолке галереи, прямо надо мною, был квадратный люк. Черный ход на чердак или к крыше. И он уже был приоткрыт. Из черной щели свешивалась тонкая металлическая цепь — часть механизма открывания. И она тихо качалась, будто ее только что отпустили. Он не пошел по лестнице.

Он уже здесь. Наверху.

Прежде чем я успела осмыслить этот ужас, люк с громким скрипом распахнулся полностью. Из черной дыры, как паук, бесшумно спустилась сначала одна нога в черном ботинке, потом вторая. Он прыгнул на галерею передо мною, мягко согнув колени, и выпрямился во весь рост. Теперь мы были в метре друг от друга. За спиной — глухая стена, окно с решеткой. Безвыходно.

Запах его — ладан, коньяк, черный перец, — ударил в лицо.

— Ловушка захлопнулась, — произнес он с легкой, почти разочарованной ноткой в бархатном голосе. Он сделал шаг вперед. Я вжалась в стену, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле, перекрывая дыхание.

Он медленно снял перчатку. Длинные, бледные пальцы с аккуратными ногтями возникли в лунном свете. Он протянул руку и кончиками пальцев коснулся моего виска, провел по линии челюсти к подбородку. Прикосновение было не ледяным, как перчатка, а теплым, живым, отчего становилось в тысячу раз страшнее.

— Такая хрупкая, — прошептал он. Его палец лег на мои пухлые губы, заставив замолчать невысказанный крик. — Такая... громкая внутри. Я слышу твой страх. Он звенит, как разбитое стекло.

Его рука скользнула к моей шее, не сжимая, а лишь обхватывая, владея. Большой палец лег на пульс, бешено стучавший под тонкой кожей.

— Вот он, — сказал он с удовлетворением. — Музыка. Та, что я хотел услышать.

Он наклонился. Маска-череп приблизилась к моему лицу. Пустые глазницы были в сантиметре от моих глаз. В прорези я видела только его губы, его дыхание, смешанное с моим

— Я не причиню тебе боли, — сказал он так тихо, что это было похоже на мысль, высказанную вслух. — Не физической. Я причиню тебе... понимание. Понимание того, что ты уже моя. Что с этой ночи ты будешь засыпать и просыпаться с мыслью обо мне. Что тени в твоей комнате будут шептать мой голос. Что ты будешь ждать следующей встречи, ненавидя себя за это ожидание.

Его губы почти коснулись моего уха.

— Это и будет твоей клеткой. Не эта усадьба. Твой собственный разум.

Он отстранился, разжимая пальцы на шее. В его движениях была почти нежность. Он поднял снятую перчатку и небрежно бросил к моим ногам.

— Сувенир, — пояснил он. — На память о начале нашего... знакомства.

Потом он повернулся и, не оглядываясь, пошел по галерее к лестнице. Его силуэт растворялся в темноте.

— До скорого, крольчонок, — его голос донесся уже снизу, эхом раскатившись по пустой библиотеке.

А потом наступила тишина. Настоящая, гробовая. Я медленно сползла по стене на пол, вглядываясь в темноту, где только что исчезла черная фигура. Пальцы наткнулись на мягкую кожу перчатки. Я отшвырнула ее, как раскаленный уголь, и прижала ладони к лицу, пытаясь заглушить рыдания, которые, наконец, вырвались наружу. Но даже сквозь них в голове стучала одна мысль, ясная и неоспоримая, как приговор:

Он прав.

Глава 6. Рафаэль.

Одиннадцать лет назад.

Холодный, пахнувший таблетками и старостью коридор клиники «Белый лотос» был для меня не просто местом работы. Это был семейный склеп, где в аккуратных папках вместо праха покоились искривленные души. Мой отец, доктор Людвиг Винкельманн, коллекционировал их с тем же холодным азартом, с каким другие собирают бабочек, накалывая их на булавки наблюдений. Мое наследство — не состояние, а этот архив безумия, и долг повелевал мне его упорядочить.

Случай №347 лежал особняком. Лаконичная, почти изящная формулировка: «Диссоциативное расстройство идентичности. Манифестация при критическом стрессе. Субъект — 14 лет».

Девочку звали Элизабет. Фотография, приколотая к обложке, была сделана по прибытии. Не постановочный снимок, а моментальный, украденный кадр. Она стояла у высокого окна, зарешеченного изящным, как паутина, узором, и смотрела не в объектив, а сквозь него, в какой-то свой, внутренний горизонт. Свет падал на половину лица, оставляя другую в тени. Получалось два профиля в одном: один — хрупкий, почти детский, с пухлыми губами и испуганно расширенными зрачками; второй, окутанный тьмой, казался старше, острее, скулы будто выступали резче, а линия глотки была напряжена, как тетива. Всего один кадр, а уже диагноз.

Дневник отца пестрел сухими, отточенными заметками:

«Субъект Э. Приступ спровоцирован взрывом (имитация). Реакция: полный уход в кататонию на 18 минут. По возвращении демонстрирует знание машиностроения, фрагментарно. Утверждает, что зовут ее «Бринкманн». Почерк меняется на угловатый, архаичный. Физиологические показатели (пульс, давление) в норме, что указывает на полное разделение аффекта и интеллекта. Идеальный, чистый случай. Распад целостности, как алмаз, расколотый по естественной грани.

Я читал, и что-то щелкало внутри, не в голове, а глубже — в том темном подвале души, где хранятся не мысли, а инстинкты коллекционера. Это был не интерес к пациенту. Это был интерес к феномену. К этой кристальной чистоте распада.

Я увидел ее впервые в зимнем саду. Она сидела на каменной скамье, абсолютно неподвижно, глядя на замерзший фонтан. Другие пациенты суетились, шептались, качались. Она была островком ледяного спокойствия. Но не пустоты. Скорее — полного, выверенного до атома, напряжения. Как если бы внутри этой хрупкой оболочки сдерживалась целая вселенная, готовая в любой миг расколоться по уже намеченным трещинам.

Она не заметила моего приближения. Или сделала вид. Я кашлянул.

—Элизабет?

Она медленно повернула голову. Глаза, серые, как пепел после холодного костра, встретились с моими. В них не было ни страха, ни любопытства. Была лишь бескрайняя, глубокая усталость.

—Элизабет сейчас нет, — произнесла она. Голос был низким для ее лет, монотонным, без вибраций. — Она ушла. Надолго.

Это была не игра. Это была констатация факта. «Бринкманн», предположил я. Тень, взявшая управление.

— А кто я говорю?

Она долго смотрела на меня, будто сканируя, оценивая уровень угрозы. Ее взгляд скользнул по моему лабораторному халату, по папке в моих руках — той самой, с номером 347.

—Вы — архивариус, — наконец сказала она. — Пришли делать опись.

От ее слов по коже пробежал холодок точного попадания. Именно так я и чувствовал себя среди этих стен: не врачом, не сыном, а архивариусом апокалипсисов чужой психики.

— Что я должен описать? — спросил я, заведомо зная, что нарушаю все протоколы, все границы.

Уголок ее рта дрогнул в подобии улыбки, лишенной всякой теплоты.

— Пустоту, где раньше была Элизабет. Узоры на стекле, когда мир снаружи треснул. Звук, после которого все разделилось на «до» и «после». — Она встала, ее движения были плавными, но неестественными, будто ею управлял опытный кукловод. — Вы хотите это увидеть? Настоящий стресс? Настоящую... манифестацию?

В ее голосе прозвучал вызов. И что-то еще. Голод. Голод понимания, признания, даже если это признание собственной ущербности.

Я понял в тот миг, что мой интерес перешел некую черту. Это было уже не научное любопытство. Это было распознавание. Я, выросший среди аккуратно разложенных по полочкам чьих-то кошмаров, увидел в ней не больную девочку. Я увидел живое, дышащее, ходячее произведение искусства. Совершенный механизм психологической защиты, превратившийся в самостоятельную, трагическую красоту.

— Я не хочу причинять вам вред, — сказал я, и это была правда. Вред ей уже причинили. Я же хотел... понять. Задokumentировать. Сохранить уникальность явления.

— Вред, — она повторила слово, будто пробуя его на вкус. — Это когда тебя заставляют быть целым, зная, что внутри — только осколки. Наблюдение — это не вред, доктор Винкельманн. Это единственная форма честности, доступная в этих стенах.

Она назвала мою фамилию. Ее «Бринкманн» прочла это на бейдже? Или «Элизабет», сквозь толщу внутреннего льда, все же узнала сына своего тюремщика-исследователя?

Я понял, что не смогу просто закрыть эту папку и уйти. Элизабет-Бринкманн, этот живой вид страдания, стала для меня не просто еще одним «субъектом». Она стала ключом. Ключом к пониманию той изощренной, чудовищной красоты, которую мой отец так методично собирал и которую я, по всей видимости, унаследовал не только в архивах, но и в крови. Интерес перерождался в одержимость. Тихую, холодную и безнадежную.

Отец назвал это «Фазой Бури». Я читал его записи, но ничто не могло подготовить меня к реальности. Это была не ярость. Это был распад материи, воплощенный в хрупком теле четырнадцатилетней девочки.

Инцидент произошел в процедурном кабинете. Медсестра, грузная женщина с руками, привыкшими сдерживать конвульсии, готовила шприц с седативным. Элизабет сидела на кушетке, сгорбившись, тихая, как мышь. Я наблюдал из-за стеклянного окошка в двери, ведя протокол. Отец настаивал: «Химическая провокация – чистый триггер. Надо зафиксировать переход».

Игла вошла в вену. Сначала – ничего. Потом Элизабет вздрогнула, как от удара током. Ее голова дернулась назад, и ее взгляд, стеклянный и расфокусированный, уперся в потолок. Но это были еще не ее глаза. Это была пустота.

А потом пришла Буря.

Она вырвала руку, не обращая внимания на брызнувшую кровь и выпавший шприц. Звук, который она издала, не был человеческим криком. Это был звук рвущейся ткани реальности – низкий, хриплый вой, переходящий в пронзительный визг, в котором угадывались обрывки слов, языков, детского лепета и чего-то древнего, гортанного. «Бринкманн»? Нет. Это было что-то третье. Что-то первобытное.

Она вскочила. Стеллаж с инструментами рухнул с оглушительным грохотом. Стеклянные банки разлетелись, забрызгав стены спиртом и формалином. Медсестра бросилась ее удерживать, но Элизабет вырвалась с силой загнанного зверя. Ее движения были нелогичными, порыв-

вистыми, лишенными всякой координации – будто в одном теле дрались несколько существ, рвавших его на части изнутри.

Она ударила врача, отца моего ассистента, стаканом для градусников. Удар пришелся по виску. Несильный, но шокирующий своей точностью и дикой, недетской силой. По лицу мужчины растеклась не столько боль, сколько первобытный ужас. Он отступил, прижимая платок к ране.

А она продолжала крушить. Опрокинула стол. Бумаги взметнулись в воздух белой метелью диагнозов и графиков. Она рвала их на лету, не глядя, с тем же пронзительным, раздирающим горло воем. В ее глазах, мелькавших в вихре движения, не было осознания. Там бушевал чистый, нефильТРованный хаос. Диссоциация достигла апогея: защитные личности рухнули, и наружу вырвалось основное состояние – аморфный, слепой ужас, лишенный формы и имени.

Я стоял за стеклом, и рука с пером замерла. Протокол был бессилён описать это. Надо было зарисовывать. Или снимать на киноплёнку. Это была не болезнь. Это была стихия.

Отец появился в дверях не сразу. Он наблюдал с нейтральным, аналитическим выражением, как ученый, следящий за извержением вулкана. Только сжатые в белые узлы кулаки выдавали в нем что-то кроме холодного интереса. Страх? Нет. Восторг. Он видел чистоту реакции. Незамутненный клинический феномен.

Когда Элизабет, выбившись из сил, рухнула на колени среди обломков, рыдая уже по-человечески, жалобно и безнадежно, он дал знак санитарам. Они вошли осторожно, как укротители в клетку к усмирённому, но все еще опасному хищнику.

Отец подошел ко мне, поправляя очки. Его дыхание было чуть учащенным.

— Видел? — спросил он без предисловий. — Полный отказ эго-структур. Регресс до базового инстинкта бегства-нападения. Никакой «Элизабет», никакой «Брикманн». Только чистая реакция миндалевидного тела на химическую угрозу. Идеально.

Я посмотрел на девочку, которую санитары уносили на носилках. Ее тело обмякло, глаза снова смотрели в никуда, но теперь это была пустота истощения. В углу ее рта была пена, в волосах – осколки стекла.

— Она причинила вред, — глупо сказал я.

— Статистическая погрешность, — отмахнулся отец, беря у меня из рук протокол. — Ценность полученных данных несоизмеримо выше. Мы нашли триггер мгновенного перехода. Это прорыв. Теперь мы знаем, как достучаться до ядра.

Он ушел, унося мой блокнот, а я остался смотреть на разгромленный кабинет. В воздухе висел запах страха, лекарств и разбитых надежд. Но в моей голове звучал не вой и не слова отца. Звучала тишина после. Тишина, в которой я понял самую страшную вещь.

Мой интерес к Элизабет не угас. Он кристаллизовался. Превратился из любопытства к феномену в нечто иное. Я видел не девочку. Я видел идеальный хаос, способный в миг разрушить любой порядок. И в этом была своя, чудовищная, божественная красота. Я хотел не просто наблюдать. Я хотел понять механизм этой Бури. Предсказывать ее. Возможно, однажды... направлять.

Она была самой опасной и самой совершенной вещью в этой клинике. И теперь она принадлежала мне. Не как пациент – как предмет самого глубокого, самого темного изучения.

Спустя два года я увидел ее на бульваре в столице. Случайность, выхваченная из потока серых лиц и шин. Я шел на встречу с издателем, чтобы обсудить монографию по клиническим случаям диссоциации — труд, пропитанный ее тенью, но где ее имя фигурировало под безликим номером «Субъект 347».

И вдруг — она.

За столиком под зеленым тентом кофейни, залитая скупым осенним солнцем. Не в больничном халате, а в простом, но хорошего кроя шерстяном платье цвета кофе с молоком.

Волосы, когда-то тусклые и спутанные, теперь были убраны в аккуратную, мягкую волну. Она что-то говорила своей спутнице, девушке с веселым, открытым лицом, и улыбалась. Не той пустой, механической улыбкой «Бринкманн», а живой, легкой, с легкой морщинкой у глаз. Она поднесла кофейную чашку к губам, и рука ее не дрожала.

Мир перевернулся. Небо обрушилось мне на голову, но не как хаос, а как ледяная, совершенная тишина.

Я замер, спрятавшись за стволом старого дуба, наблюдая. Это была Элизабет. Но не та. Это была цельная, гладкая версия. Та, какой она могла бы быть, если бы никогда не слышала звука разбитого стекла, взрыва машин, если бы ее сознание не раскололось, как хрустальный бокал. Она смеялась, откинув голову, и этот звук резал меня острее, чем ее прежний вой.

Я знал, почему она здесь. Отчет об ее «выздоровлении» и выписке лежал у меня в сейфе. Отец отпустил ее не из милосердия. Ее забрали родственники, какая-то тетка из министерства, после того как очередная, самая агрессивная терапия дала парадоксальный результат. Не интеграцию. Глубокую амнезию.

В графе «Итог» его убористый почерк вывел: «Субъект 347. После курса электрошоковой терапии в сочетании с экспериментальным миорелаксантом «Вертер» отмечено полное подавление эпизодов диссоциации. Побочный эффект: стойкая антероградная и частичная ретроградная амнезия, затрагивающая травматичное ядро и период пребывания в клинике. Пациент демонстрирует устойчивую, хотя и поверхностную, адаптацию. Личность «Элизабет» стабилизирована за счет полного вытеснения «Бринкманн» и сопутствующих защитных структур. Случай можно считать закрытым. Феномен утрачен.»

«Феномен утрачен». Он написал это с сожалением коллекционера, потерявшего уникальный экспонат.

И вот она сидела передо мной — живое доказательство его «успеха». Утраченный феномен, пьющий латте и обсуждающий, судя по жестам, новую выставку в галерее. В ней не осталось и следа той чудовищной, совершенной хрупкости. Не было настороженности «Бринкманн», не было пустоты «Элизабет» после приступов. Была обычная девушка. Здоровая. Цельная.

И от этого зрелища меня охватила ярость. Глухая, бессильная, извращенная ярость. Они не вылечили ее. Они стерли. Уничтожили самое ценное — тот бездонный, темный колодец, из которого били ключом ее иные «я». Они засыпали его цементом банальности и назвали это милосердием. Они украли у мира — у меня! — это уникальное, трагическое произведение искусства и заменили его посредственной копией.

Она взглянула в сторону, и ее глаза, серые и спокойные, скользнули по моей фигуре. Ничего. Ни искры узнавания. Ни тени беспокойства. Полная пустота. Ее память о клинике, о моем отце, о мне, о той Буре, что переворачивала миры, — была аккуратно, хирургически удалена.

Ее подруга что-то сказала, и она снова рассмеялась, повернувшись к ней. Солнце играло в ее волосах. Она была просто счастлива. Или то, что принималось за счастье.

Я отшатнулся в тень, сердце колотилось не о страсти или тревоге, а о безумной, несправедливой утрате. Я потерял ее два года назад, когда ее увезли. Но только сейчас, увидев это банальное благополучие, я осознал всю глубину потери.

Она была совершенным архивом боли. А они превратили ее в чистый лист. Они не спасли ее. Они совершили акт величайшего вандализма.

Я ушел, не дожидаясь конца их встречи. Кофе в моем горле стоял комом горечи. Но не от напитка. От осознания.

Феномен был утрачен.

Но я не мог смириться с этим. Архив должен быть полным. И где-то там, под этим слоем искусственного спокойствия, под этим цементом забвения... должны были оставаться трещины. Обломки. Возможно, они просто спали.

И я, наследник коллекционера, знал одно: ничто не пропадает бесследно. Даже память. Особенно память. Ее просто нужно... напомнить.

Глава 7. Рафаэль.

Пять лет спустя клиника «Белый Лотос» была моей. Не по душевной потребности, а по праву наследства и как удобная, легальная ширма. Отцовский кабинет я переделал под библиотеку, выкинув его инструменты, но оставив архивы. Они стояли на полках — стерильные папки с номерами вместо имен, молчаливые свидетели его безумия и моего... чего? Сна? Забвения?

Жизнь моя была глянцевым кошмаром. Я стал тем, кем должен был стать: богатый, молодой, преуспевающий доктор Винкельманн-младший. Я владел клиникой, которой не управлял, и состоянием, которое меня не радовало. Я пытался заполнить пустоту, зиявшую на месте того феномена, тем, чем обычно заполняют пустоту люди моего круга.

Вечеринки в моем особняке в лесу напоминали вскрытие — яркое, шумное, лишенное души. Хрусталь звенел, смех был слишком громким, женщины слишком навязчивыми. Я пил коньяк, который не чувствовал на вкус, и смотрел сквозь толпу, ища в ней один-единственный профиль — профиль, разделенный светом и тенью.

— Ты просто невыносим, Раф. Эта блондинка от тебя без ума, а ты пялишься в окно, будто там твой долг по процентам летит на воздушном шаре. Что с тобой?

Я повернул к нему пустой бокал.

— Она слишком... цельная, Фредерик.

— Цельная? Это новый термин? «Доктор, у меня проблема, моя любовница слишком цельная, прописать ей трещину?»

— Она смеется, не прячется. Говорит, не взвешивая каждое слово. В ней нет... пустот.

Фредерик фыркнул, закуривая сигару.

— Боже, ты со своими психологическими заморочками. Пустоты? Да женщины от тебя и так шарахаются, как от прокаженного. Тебе не пустоты нужны, тебе хороший, крепкий шот виски и дырка в которую можно засунуть наконец член.

Он не понимал. Никто не понимал. Я искал не женщину. Я искал архитектуру распада, увиденную однажды. Женщины вокруг были, прочными, как бетонные плиты. А мне снились трещины на фарфоре.

Поздним утром на террасе она, завернувшись в мой халат, пыталась вести светский разговор.

— Вчера было... интересно. Ты такой загадочный. Все время будто где-то далеко. — Она прикусила губу, играя в кокетку. — О чем ты думаешь?

Я смотрел на сад, где садовник подстригал идеальный, скучный куст.

— О снеге, — сказал я.

— О снеге? В июне?

— О том, как он тает. Исчезает бесследно. Не оставляет ничего, кроме сырости. Можно подумать, его и не было.

Она засмеялась, нервно.

— Какой ты странный. Поэт. Но ты же врач. Должен думать о живом, о теплом.

— Именно поэтому, — пробормотал я, отворачиваясь.

Я думал о ней. О том, как ее «Буря» растаяла, оставив после себя эту сырую, обыденную нормальность. Исчезла, будто ее и не было. Но я-то знал, что была. Я помнил.

Я вернулся в клинику не как врач, а как сторож склепа. Я перечитывал папку №347, пока буквы не начинали плясать перед глазами. Я смотрел на ту самую фотографию с двойным профилем. Иногда я ловил себя на том, что разговариваю с ней, с той, потерянной версией, как с коллегой по исследованию.

— Ты там? — шептал я в тишине кабинета, глядя на ее снимок. — Под этим слоем льда и забвения? Ты просто спишь?

Ответом была лишь тишина. Та самая тишина, что осталась после Бури. Тишина, которая сводила меня с ума больше, чем любой шум. Я был богат, молод, влиятелен. И я был нищим. Потому что самое ценное, что я когда-либо видел — этот живой, дышащий шедевр распада — было украдено. Не смертью. Не судьбой. Благополучием. Самой утонченной и беспощадной формой уничтожения.

И я понял, что не могу так жить. Что нельзя быть хранителем архива, единственный ценный экспонат которого утерян. Надо было его вернуть. Не девочку. Феномен. Надо было найти трещину в ее новом, цельном мире. И напомнить.

2 года спустя

Ночь в столице была густой и липкой, как патока, подслащенная неоновым сиропом вывесок. Я вывалился из одного клуба, где музыка била в виски тяжелым, тупым молотом, и направился к следующему, надеясь, что очередная порция шума и чужих тел наконец выбьет из головы ее образ. Не помогло. Ничто не помогало.

И тогда я увидел ее.

Она стояла в переулке рядом с модным лаунджем, прислонившись к грубой кирпичной стене. Платье — шелковое, короткое, цвета темного вина — съехало с одного плеча. Она держала в руке туфлю на высоком каблучке, вторую, видимо, потеряла. Голова была запрокинута, она смотрела на грязное небо между крышами, и по щеке у нее стекала одинокая слеза, смешиваясь с размазанной тушью. Она была пьяна. Не весело, а горько, до потери связи с миром.

И к ней уже пристроился кто-то. Крупный, в дорогой, но безвкусной куртке, мужчина. Он нависал над ней, пытаясь взять ее за подбородок. Его губы шевелились, он что-то говорил назидательным, властным тоном, полным гнусной уверенности. А она... она просто смотрела сквозь него. Та же пустота. Но теперь не защитная, а истощенная. Беспомощная.

Что-то внутри меня — не разум, не сердце, а нечто древнее, темное и примитивное — щелкнуло. Все эти годы ожидания, поисков, бессильной ярости от ее «целостности» — все это сконцентрировалось в одну белую, холодную точку. Он не просто приставал к пьяной девушке. Он трогал мой экспонат.

Это был не гнев. Не ярость. Это было возвращение долга. девять лет я носил в себе эту пустоту, эти бесплодные поиски, эту ярость от её благополучной, цельной жизни. И вот он, этот надутый, самоуверенный мужик в дурацкой куртке, осмелился прикоснуться к единственному, что в этом мире имело для меня ценность. К моему потерянному феномену. К моему архиву в плоти.

Я пересек пространство переулка, не чувствуя под ногами камней. Звуки города — гул машин, далекая музыка — отступили, сменившись гулом в собственных висках. Он услышал шаги, обернулся. На его лице было раздражение, переходящее в глупое удивление. Он даже рта не успел открыть.

Первый удар пришелся не в челюсть. Он пришелся в солнечное сплетение. Точно, сокрушительно, с тихим выдохом, похожим на хлопок подушки. Вся его напыщенная уверенность вышла из него одним хриплым «бух». Он согнулся пополам, глаза вылезли на лоб, полные непонимания и животного страха.

Это была не драка. Это было расслоение.

Я не бил его. Я работал с ним. Мои удары были методичными, холодными, лишенными всякой эмоциональной окраски. Правый крюк в ребра — я услышал, не почувствовал, тупой хруст. Он захрипел. Левый апперкот поднял его голову, и мой локоть, описав короткую, экономную дугу, встретился с его скулой. Кость под кожей подала тихий, влажный звук.

Он рухнул на колени, пытаясь ухватиться за мою ногу. Я отстранился, как от назойливого насекомого, и нанес удар ногой в бок. Не с размаху, а с сосредоточенной силой, будто вбивал кол в землю. Он перекатился на спину, захлебываясь собственными слюнями и кровью.

Я наклонился над ним. Он лежал, беспомощный, с разбитым, опухающим на глазах лицом. В его глазах не осталось ничего, кроме первобытного ужаса. И в этот момент я увидел не его. Я увидел её. Ту, прежнюю. Ту, что билась в «Фазе Бури», окруженная осколками и собственным воем. Ту же беспомощность. Ту же потерю контроля. Ту же стихию насилия, но теперь направленную не внутрь, а вовне. И я был её проводником.

— Ты тронул то, что не принадлежит тебе, — произнес я тихо, почти ласково. Мой голос звучал чужим, ровным, как скальпель. — Ты тронул архив.

Он ничего не понял, только застонал, прикрываясь руками. Во мне не было ни злорадства, ни жалости. Была лишь чистая, кристальная ясность. Я выполнил необходимую процедуру. Удалил помеху.

Я выпрямился, отряхнул ладони о брюки. На костяшках остались ссадины и чужая кровь. Я почти не чувствовал боли. Только приятное, глухое жжение.

Потом я повернулся к ней. К Элизабет. Которая наблюдала за этим с тем же остеклевшим, пьяным взглядом. Но теперь в её глазах, поверх алкогольного тумана, плавало что-то еще. Не осознание. Не благодарность. Признание. Признание того хаоса, той абсолютной, неконтролируемой силы, которая только что проявилась перед ней. Ту самую силу, что когда-то жила внутри неё самой.

И тогда, не отрывая от неё взгляда, я совершил следующий логичный шаг в этом тщательно выверенном ритуале. Я подошел, взял её лицо в окровавленные руки и прижался губами к её губам. Закрепляя связь. Ставя печать. Возвращая её в ту реальность, где мы были связаны — я как наблюдатель, она как явление. Где насилие было не преступлением, а языком, на котором мы когда-то оба умели говорить.

Она не сопротивлялась. Ее губы были теплыми, мягкими. Она приняла этот натиск, ее язык встретился с моим, во рту услался ее легкий стон. И в самый последний миг, прежде чем я оторвался, мне показалось, что ее веки дрогнули. Не от отвращения. От какого-то смутного, глубоко запрятанного узнавания. Не меня. А того состояния, что стояло за мной. Состояния насилия, хаоса, потери контроля.

Потом я ушёл, оставив его хрипеть в луже, а её — стоять у стены с отпечатком моей крови и моей одержимости на губах. Всё было сделано чисто. Эффективно. Как и подобает учёному, вновь нашедшему свой утраченный эксперимент.

Я не сказал ни слова. Не посмотрел на тело, корчащееся в луже у стены. Я просто развернулся и шагнул в темноту переулка, растворяясь в ней, как тень. На губах горел привкус ее помады, слез и чего-то еще — того самого, слабого, едва уловимого привкуса страха. Не сегодняшнего, свежего. А старого, вытесненного, того самого, что когда-то разорвал ее сознание на части.

Он еще был там. Глубоко. Но он был.

И пока я шел по ночному городу, сердце мое билось не от ужаса содеянного, а от ликования охотника, нашедшего наконец след давно потерянного зверя. Феномен не был утерян. Он просто дремал. И я только что грубо, жестоко напомнил ему о своем существовании. Игра началась.

Осень 2025

Слухи, словно моль, проедали дорогую обивку светских салонов, и я поймал одну из них. Не ее имя. Нет. Ее род занятий.

Она стала биографом.

Ирония ударила меня с такой силой, что я едва не рассмеялся вслух в безупречной тишине моего столичного клуба. Элизабет, чья собственная биография была стерта, раздроб-

лена на осколки разных «я» и склеена в подобие целого, теперь кропала чужие жизни. Она систематизировала чужие воспоминания, выстраивала хронологию чужих поступков, пока ее собственная лежала в моем сейфе под номером 347 — неполная...

Я представлял ее за столом, в светлой комнате, перебирающей письма и дневники. Ее пальцы, которые я помнил сжатыми в беспомощные кулаки во время «Бури», теперь аккуратно листали страницы. Ее взгляд, когда-то пустой или полный первобытного ужаса, теперь, должно быть, сосредоточенно скользил по строчкам. Она собирала пазлы чужих судеб, даже не подозревая, что ключевые фрагменты ее собственной хранились у меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.